Заяра Веселая
7-35
Воспоминания о тюрьме и ссылке

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Лубянка, Бутырки, этапы и пересыльные тюрьмы, сибирское село Пихтовка — путь, пройденный в 1949 году 20-летней студенткой. Заяра Веселая была арестована и сослана как дочь «врага народа» — писателя Артема Веселого.

В своих воспоминаниях она живо и непосредственно воспроизводит увиденное и пережитое.

Заяра Веселая. 7-35. Воспоминания о тюрьме и ссылке. Издательство «Возвращение». Москва. 2006.

- Заяра Веселая
  - Арест
  - Лубянка
  - Бутырки
  - Первый этап
  - Куйбышев
  - Эшелон
  - Новосибирск
  - Последний этап
  - Пихтовка
  - Без конвоя
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

Заяра Веселая

•

7-35

Воспоминания о тюрьме и ссылке

Арест

В 49-м году я училась на втором курсе Московского городского пединститута, старшая сестра Гайра заканчивала университет. В апреле она защитила диплом, на ближайшую субботу мы позвали друзей, чтобы отметить это событие.

Не знаю почему (может, и правда, сердце — вещун?), я стала уговаривать сестру перенести торжество на пятницу. Она не соглашалась, приводя два резона: принимать гостей удобнее под выходной, а главное, в пятницу мне нужно заняться латынью, поскольку в субботу предстоит зачет. Но я стояла на своем с таким упорством, что гости были приглашены на пятницу — 22 апреля.

Последнее время — после того как арестовали маму — мы с сестрой жили вдвоем. У нас была комната в коммуналке на Арбате, то есть на пересечении всех тогдашних путей, поэтому редкий вечер кто-нибудь к нам не зайдет. Бывало, в одиннадцатом часу звонок из автомата: «Мы тут с Валей и Милой — ты их не знаешь — не попали на последний сеанс в Повторный. Можно сейчас к вам?» — «Конечно!»

Подруги, приятели и их знакомые — в основном студенты — приходили повидаться, почитать или послушать стихи, обменяться книгами, покрутить патефон (любимейшие пластинки — «Песня Сольвейг» и полонез Огинского «Прощание с родиной» — заводились по нескольку раз кряду).

По московской традиции гостям непременно подавался чай, хотя к чаю обычно не было ничего, кроме хлеба, если не принесет чего-нибудь вкусного Минка — моя однокурсница и самая близкая подруга. Родители разрешали ей тратить стипендию по своему усмотрению; мы же с сестрой жили только на стипендию, то есть впроголодь.

И все же, когда у нас собиралась очередная вечеринка — поводом для нее могло послужить что угодно, — мы покупали бутылку дешевого вина, это считалось данью студенческой традиции. Вино выливалось в суповую кастрюлю, которая доверху наполнялась водой из-под крана и ставилась на огонь. В кастрюлю кидалось все, что случится подходящего под рукой: сахар, корица, изюм, орехи, сухая кожура апельсина. Дымящаяся ароматным паром кастрюля торжественно водружалась на середину стола: глинтвейн разливался по чашкам и неизменно вызывал восторг участников пирушки.

Но в ту пятницу, затеяв званый вечер, мы накупили вдосталь колбасы, сыру и печенья с конфетами, поставили на стол пару

бутылок вина (благо незадолго перед тем разбогатели — свезли в комиссионку швейную машину).

Вечер удался — не хотелось расходиться. Но метро работало только до двенадцати, поэтому почти всем гостям ближе к полуночи пришлось распрощаться. Остались те, кто жил неподалеку: Минка, приятель со школьных лет Олег и студент Института международных отношений Дима, нам до того дня незнакомый, пришел с одной из моих подруг да и засиделся себе на беду.

Впятером расположились мы с краю раздвинутого стола, пили остывший чай, за каким-то увлекательным разговором позабыв о времени.

Неожиданно раздался стук в наружную дверь. На часах было четверть третьего. Мы с Гайрой переглянулись, я пошла открывать. В комнату вернулась в сопровождении офицера МГБ и нескольких парней в военном; следом вошли дворник с дворничихой — понятые.

Последовала короткая немая сцена: наши гости в замешательстве смотрели на вошедших. Красивый офицер (был он похож на Кадочникова из «Подвига разведчика») быстрым взглядом окинул комнату, после чего представился:

— Майор Потапов. — Он кивнул на разоренный стол, спросил шутливо: — Пасху справляете?

— Вот еще! — Я была уязвлена таким предположением: небось не старухи! Да и пасха-то ведь только в воскресенье начнется — что это ему вздумалось?..

— Отмечаем защиту диплома, — сказала Гайра.

— А-а, ну что ж, дело хорошее… Кто же из вас будет Веселая Заяра Артемовна? — И майор предъявил мне ордер на обыск и арест.

Почему-то я не ужаснулась, лишь удивилась.

Ужаснулась Гайра:

— Погодите, при чем тут Заяра?! Это меня должны арестовать!

Наверное, майору Потапову — да и всем остальным — этот возглас показался по меньшей мере странным.

Гайра проходила педпрактику в школе и на уроке истории сказала, что в 1905 году отсталые слои населения принимали участие в еврейских погромах; ее сокурсник расценил эти слова как клевету на русский народ и довел их, с соответствующим комментарием, до сведения партбюро курса. Делу был дан ход, и после нескольких — на разных уровнях — проработок Гайру исключили из комсомола.

Так что последние недели мы с сестрой жили как на вулкане;

правда, об аресте не думали, больше всего опасались, что Гайре не дадут закончить университет, но поскольку ее допустили до защиты диплома и она защитила его с блеском, мы решили, что худшее — позади.

— Поймите, просто перепутали имена! — убеждала Гайра майора. — Это ошибка!

Майор сказал, что никакой ошибки нет, и велел мне собрать вещи.

— Много не бери: пару белья и… Ну, в общем, самое необходимое. Не забудь теплую кофточку, — заботливо говорил он. — Если есть, возьми деньги.

Дима побелевшими губами залопотал о том, что пришел сюда впервые и совершенно случайно. Мы с Гайрой клятвенно это подтвердили, нам от души было его жаль — надо же так влипнуть!

Олег от нас не открещивался, молча и с любопытством наблюдал за происходящим. Минка прежде всего вытряхнула мне свой кошелек. Видя, что я роюсь в шкафу в тщетных поисках пары белья, она отошла в угол, небрежно бросила в пространство: «Отвернитесь!», сняла платье и шелковую рубашку, платье натянула на голое тело, а рубашку сунула в наволочку, в которую я — за отсутствием какого-либо саквояжа — укладывала вещички. Потом она сняла с ног капроновые чулки — крик тогдашней моды (они только-только начинали входить в обиход). Я было запротестовала: мол, как же ты пойдешь домой (апрель в тот год выдался холодным, по ночам бывали заморозки), но она только махнула рукой.

— Готова? — спросил майор. — Тогда прощайтесь. В это время я вспомнила про латынь и — обрадовалась, что утром не придется сдавать зачет.

№ 12 по Кривоарбатскому переулку — типичный доходный дом начала века, шестиэтажный, облицованный по фасаду серым гранитом. Мне очень нравился наш дом. Единственным его недостатком было отсутствие лифта; наверное, строили незадолго до первой мировой войны и лифт не успели вмонтировать в оставленное для него место: лестница вилась вокруг пустой шахты.

Меня сопровождали двое, остальные, в том числе, и сам майор, почему-то остались в квартире. Спускаясь с четвертого этажа, я по привычке взялась было рукой за перила, но один из военных молча оттеснил меня к стене, сам пошел у перил. «Неужели они опасаются, что я брошусь в пролет?! — изумилась я. — Можно подумать, ведут пойманную шпионку! Как интере-е-есно!..»

Оказавшись между двумя конвоирами на полутемной по ночному времени лестнице, я конечно же не могла не отметить некоторой театральности происходящего. Сцена выглядела бы гораздо эффектнее, будь я одета поэлегантнее: демисезонное пальтишко с отвисшими карманами, еще в войну полученное по ордеру, беженский узелок в руке — все это, безусловно, разрушало образ. Выйдя из подъезда, я оглядела переулок; никогда не доводилось мне видеть его в столь поздний час.

Хотя нет, однажды, в июле сорок первого, во время воздушной тревоги мы с Гайрой среди ночи бежали по такому вот безлюдному переулку: бомбоубежище помещалось на углу Кривоарбатского и Плотникова. В ту ночь мама дежурила в роддоме, где тогда работала, а мы с сестрой спали так крепко, что не услышали сирены. Нас, уходя в бомбоубежище, разбудили соседи. Я, сонная, долго одевалась; Гайра меня торопила, но я повязала перед зеркалом красный галстук («Зачем?» — спросила Гайра. Я ответила: «Назло Гитлеру!»). Когда мы выскочили наконец из дому, вокруг уже не было ни души. Мы взялись за руки и, подгоняемые воем сирены, побежали в сторону Плотникова. У подъезда стояла черная «эмка».

…Такою же глухою ночью в прошлом году увезли маму, одиннадцать лет назад — отца.

Мои родители поженились в 1922 году, встретившись в Москве.

Мама в родном Крюкове Полтавской губернии окончила четыре класса, несколько лет проработала в детском доме и была направлена с путевкой в Московский пединститут. Срезалась на экзамене, поступила работницей на чулочную фабрику.

Отец в ту пору только что демобилизовался со службы на флоте. Он привез в Москву рукопись своей первой книги «Реки огненные»; повесть была напечатана в 1923 году в журнале, а на следующий год — в издательстве «Молодая гвардия».

Подлинное имя отца — Николай Иванович Кочкуров, литературный псевдоним — Артем Веселый.

Родители поселились на Покровке, 3. В этом доме, где раньше размещалась дешевая гостиница, два этажа были отданы под общежитие писателей и поэтов группы «Молодая гвардия» (у каждого из них была отдельная комната, а у Артема Веселого, жившего со стариками родителями, которые приехали к нему из Самары, — даже две).

Через несколько лет отец и мать расстались. Они сохранили добрые отношения; Гайра до восьми лет воспитывалась у дедушки с бабушкой, я то и дело у них гостила. Отец, живя отдельно с новой семьей, постоянно бывал на Покровке. Я часто

виделась с отцом, хорошо его помню.

Новый — 1937-й — год встречали на даче в Переделкине.

Обеденный стол раздвинут и завален ворохом цветной бумаги и яркими лоскутами: мы с Гайрой и сводной сестрой Фантой мастерим елочные игрушки. Елка уже стоит в столовой, упираясь верхушкой в потолок, — елку срубили (тут же, на диком еще дачном участке) отец и его младший брат Василий. Смолистый дух перешибает все другие запахи Нового года: красок, клея, мандаринов, горячих бабушкиных пирогов.

Ужинали — вчерне — на кухне, у бабушки еще топилась плита. Отец поднялся на второй этаж в свой кабинет, вернулся с несколькими коробками «Казбека» в руках.

— Все! Бросаю курить! — он открыл дверцу плиты и швырнул папиросы в огонь.

— «Казбек»?! — в ужасе закричал дядя Вася и голыми руками — мы только ахнули — выхватил коробки из пламени.

После ужина отец прилег в своем кабинете поверх серого солдатского одеяла, мы с сестрами примостились рядом.

Сперва принялись наперебой рассказывать ему о своих школьных делах (я учусь в первом классе, и школьные дела представляются мне необычайно важными).

Немного погодя отец сказал:

— А теперь представьте себе такое…

Врезалось в память: отец говорит размеренно, как будто с листа считывает, и при этом пристально вглядывается в черноту окна, словно ему что-то видится в этой черноте:

— В походном шатре двое — хан и молодая русская полонянка. Хан угощает ее яствами и вином, она ото всего отказывается, потом внезапно говорит: «Дай хлеб». Он дает. «Дай мясо». Дает. «Дай нож!» Дает нож. Она режет на доске мясо и хлеб, говорит хану: «Возьми!» Хан протянул руку (отец тянет руку в сторону темного окна), как вдруг!.. Вдруг взмахнула полонянка ножом — и пригвоздила руку хана к доске! Закричал хан, вбежали его телохранители, совсем уж было схватили девушку, но она, гибкая как змея, выскользнула из шатра, лишь ее одежда осталась у них в руках. Вокруг шатра расположилось станом бесчисленное ханское войско, в ночи горели тысячи костров… За девушкой гнались, но она — нагая, с распущенными волосами — прыгала и прыгала через костры, бежала и бежала, покуда ночная степь не скрыла ее…

(Впоследствии, вспоминая рассказ отца, я думала, что это — эпизод, не вошедший в «Гуляй Волгу» — его роман о покорении Сибири Ермаком (Ярмаком назван он в книге; кстати сказать, родись я мальчиком, меня, по желанию отца, нарекли бы

Ярмаком).

И только недавно, разбирая то, что уцелело из отцовского архива, поняла, что это — отрывок совсем из другого романа, рукопись которого была изъята при аресте отца, но — по сохранившемуся плану и довольно многочисленным наброскам — можно судить о его содержании. У этого романа было несколько вариантов названия, в том числе такие, как «Запорожцы» и «Печаль земли». Рассказанного отцом эпизода в рукописях нет, но есть строки, ему предшествующие и за ним следующие.

«Степь была залита лунным светом. На кургане ордынцы делили добычу: седла, холсты, церковная утварь, колодки меду, кони, волы, отары овец, полонянники… Всадники ворчали и ругались, грозя уйти от хана в другую орду.

Около Марийки заспорили два татарина. Один потянул ее за руку к себе и сказал:

— Моя.

Другой к себе:

— Моя.

Привлеченный шумом спора и свары, подошел хан и сказал:

— О храбрецы моего племени, я дам вам много волов и коней, овец и меду, но отдайте эту девку мне.

В толпе черных харь лицо юной полонянки блистало, как солнечный луч.

Чтобы прекратить этот спор, один из татар выхватил шашку, намереваясь зарубить девку, но хан взмахнул спрятанным в широком рукаве япанчи ножом, и татарин упал окровавленный.

Хан забрал Марийку и увел ее к себе в шатер».

Далее, совершенно очевидно, должна быть сцена, рассказанная нам отцом, а после нее приходится встык следующий сохранившийся набросок:

«По ночной степи она летела нагая на неоседланном жеребце… Утро приветствовало беглянку улыбкой ясной и потоком лучей, от которых она тщетно старалась прикрыть наготу свою. Волосы ее были рассыпаны по плечам, спине, высокой, с острыми сосцами груди, что была белее серебра… Вылетела на курган и огляделась: степь была пустынна, погони нигде не было видно, вдалеке ясно вырисовывался остроголовый курган Семи братьев. Опасность миновала».)

Сама встреча Нового года мне не запомнилась, возможно, я ее просто проспала. Наутро мы с отцом пошли погулять по Переделкину. У плотины он нас сфотографировал.

Не берусь гадать, о чем думал отец в первый день тридцать седьмого года, но то, что он предвидел свой трагический конец, несомненно: уже вовсю шли аресты.

Летом, когда сестры с отцом вернулись из очередного путешествия по Волге, они рассказали, что в отличие от предыдущих поездок отец избегал посещать большие города, а под охраняемыми мостами проплывал, пристроившись к плотам; все это из опасения, что, если его арестуют, дочери останутся одни вдали от дома.

Отец пробыл остаток августа в Переделкине, где проводила лето его жена Людмила Иосифовна с их детьми — Левой и Волгой, и где я жила при бабушке с дедушкой.

Уже была опубликована в «Комсомольской правде» рецензия, озаглавленная: «Клеветническая книга. О романе А. Веселого „Россия, кровью умытая“».

Отец предвидел арест — и готовился к нему. Часть своего архива он отвез на Покровку, видимо полагая, что его стариков и брата, работавшего грузчиком, не тронут.

Так оно, по счастью, и произошло.

«Дедушка» и «бабушка», как все в доме называли родителей Артема, были в то время еще не стары — чуть больше пятидесяти, но своим обличьем, самобытной речью, всем жизненным укладом и в самом деле могли казаться молодым обитателям Покровской коммуналки стариком и старухой. Живя с начала 20-х годов в столице, они сохраняли колоритные черты, присущие жителям самарской рабочей слободки.

Бабушка была верующей, дедушка — безбожник. Бывало, бабушка шепчет что-то перед маленькой иконой, слышится вздох: «Господи, боже мой…», дедушка, должно быть желая отвлечь бабушку от каких-то тяжких дум, скажет: «Не весь твой, поди и мой маленечко!» Бабушка промолчит, только взглянет укоризненно. Жили в завидном ладу, а жизнь была к ним сурова: до революции похоронили четырнадцать детей…

Отец преданно любил родителей, полностью их содержал, посвящал в свои дела.

Сюда приходили его короткие — в три слова — открытки: «Жив. Здоров. Артем». Работая над «Гуляй Волгой», он каждое лето отправлялся в путь по сибирским рекам, по Белой, Каме и Волге — плыл на лодке, под парусом и на веслах, собирая материал для книги и, по его выражению, «кормясь с ружья и сети». Позднее — уже не для сбора материала, а просто для души (впрочем, по пути записывал частушки, и в тридцать шестом году издал их отдельной книгой) — он три лета плавал по Волге. В верховьях реки покупал большую рыбачью лодку, к концу лета, доплыв до Астрахани, дарил лодку знакомому рыбаку или бакенщику. В эти путешествия он брал с собой старших дочерей — Гайру и Фанту.

Сборы в дорогу проходили на Покровке. На полу, на кровати, на стульях разложено снаряжение: выгоревшая на солнце палатка, туго свернутая рыбацкая сеть, ружье, патронташ с патронами, котелок, чайник, всякая походная мелочь. Сестры, радостно возбужденные, сноровисто укладывают рюкзаки, вспоминают разные смешные и страшные случаи прошлой поездки…

Дедушка умер во время войны, бабушка — в сорок восьмом году. На Покровке остались младший брат отца Василий Иванович Кочкуров с женой Клавдией Алексеевной. Никто, кроме них, не знал о существовании архива: хранение бумаг осужденного врага народа считалось криминалом. Архив, уложенный в плетенную из ивовых прутьев бельевую корзину, был спрятан… под кровать.

Люди, далекие от литературы — грузчик и работница столовой, — Василий Иванович и Клавдия Алексеевна не только по-родственному любили Артема, они безгранично уважали его труд и верили, что спрятанные бумаги пригодятся, когда он вернется из заключения. Они сохранили ценнейшие материалы: рукописи, документы, письма, фотографии, прижизненные издания произведений Артема Веселого.

В последний раз я видела отца в сентябре или октябре тридцать седьмого.

Как-то раз вернулась из школы — следом пришел отец. Он был молчалив и сосредоточен, не спеша разделся, несколько раз прошелся по комнате, потом сел за стол, достал из кармана и положил перед собой тоненькую книжку в бумажной обложке. Я углядела, что она — из собираемой мною серии «Книга за книгой», обрадовалась и потянулась за ней через стол, но отец прижал книжку ладонью.

— Садись и слушай… «Янко-музыкант», — начал он с печальной торжественностью.

Отец читал мне вслух, чего прежде никогда не делал: я самостоятельно читала с четырех лет. Слушала, смаргивая слезы; горько заплакала, когда он дочитывал последнюю строку: Над Янко шумели березы…

Вскоре отец ушел; тогда я не пожалела, что не побыл со мною подольше: мне не терпелось еще раз перечесть историю Янко…

В конце октября отца арестовали. Следом оказалась за решеткой, а потом получила восемь лет лагерей Людмила Иосифовна, Леву и Лялю (так в детстве звали Волгу) забрали в детдом.

Долгие годы не знали мы о судьбе отца: в справочной на Кузнецком, 24, на наши регулярные о нем запросы отвечали одно и то же в краткой стереотипной формулировке: «Жив, работает;

осужден на 10 лет без права переписки», повторяли это — не вдаваясь в объяснения — и после того, как истек срок наказания. [1]

Маму арестовали в начале сорок восьмого года. Ее не посадили в 30-е, во время массовых арестов; тогда она ожидала этого каждую ночь — знала за собой давнюю провинность: будучи работницей электролампового завода, выступила на заводском митинге в поддержку оппозиции, за что впоследствии — в середине 30-х — была исключена из партии, уволена с работы (она занимала какую-то техническую должность на радио). Долго не могла никуда устроиться, была вынуждена завербоваться в Каракалпакию. Уехала на год, оставив нас с сестрой в Москве, меня — на попечении своей еще фабричной подруги, а Гайру — бабушки с дедом. Вернулась как раз ко времени массовых арестов. Предупреждала нас каждый вечер, чтобы мы не пугались, если ночью за ней придут, клала Гайре под подушку деньги на первое время. Но в ту пору — обошлось…

После войны мама работала медсестрой в поликлинике, подрабатывала уколами и как-то раз по телефону, висевшему у нас в коридоре, сказала своему пациенту, чтобы тот постарался достать американский пенициллин, — он, мол, гораздо лучше нашего.

Сосед услыхал, донес куда следует.

Мать обвинили в антисоветской агитации, припомнили старое, приговорили к восьми годам лагерей.

Мама попала в Потьму. Она не была лишена права переписки, но это право ограничивалось двумя письмами в год. Кроме того, отправив ей посылку, мы в ответ получали разрешаемую открытку всего из трех слов: «Посылку получила, мама». Было нам уже и одно письмо — скупое (явно подцензурное): мол, жива-здорова, работаю на общих, спасибо за посылки. Мама беспокоилась о нас, просила писать почаще.

Посылки мы с сестрой отправляли каждый месяц, деньги на них давал большой мамин друг, что сохранялось им и нами в строжайшей тайне: был он старым большевиком, директором фабрики и сильно рисковал, помогая осужденной. Мы рассчитывали, что, как только Гайра закончит университет и поступит на работу, мы полностью возьмем на себя заботу о матери.

…У подъезда стояла черная «эмка».

Передо мной распахнули дверцу, я оказалась на заднем сиденье между двумя военными.

Машина, рванув с места, помчалась по Арбату, по Воздвиженке, через Манежную площадь и, подъехав к большому

зданию на площади Дзержинского, остановилась у подъезда № 3.

Лубянка

Это уже потом, освоившись с тюремными порядками и терминологией, я узнала, что провела ночь в боксе. А тогда подумала, что комнатушка без окна, напоминающая чулан, — одиночная камера. Маленький — типа тумбочки — столик, табуретка; кровати небыло.

«Должно быть, мне бросят соломенный тюфяк, — решила я. — Подумать только, я — в тюрьме!» Настроение у меня было приподнятое: ждала каких-то значительных и немедленных событий, связанных с моим загадочным арестом.

Забавляла мысль, что не соберись мы вместо субботы в пятницу — не бывать бы нашему званому вечеру; радовалась, что ночной стук не врасплох застал нас с сестрой, не спросонья, как это было при аресте мамы; запоздало удивилась, что не было обыска, подумала: «Оно и лучше».

Время шло, но ничего не происходило. Первоначальное возбуждение постепенно улеглось, подступила тревога.

Пыталась строить догадки, почему меня арестовали. Мама во время свидания, данного нам перед ее отправкой в лагерь, сумела намекнуть, кто из наших квартирных соседей доносчик.

Может быть, я что-нибудь брякнула по телефону, а этот сосед подслушал — и донес? Или он меня просто оклеветал? Удастся ли оправдаться? Одно из двух: или меня взяли по ошибке — тогда разберутся и отпустят, или…

Сидела, уставившись в стену, чувствуя, как угнетающе начинает действовать слепящий свет яркой лампы и полная — до звона в ушах — тишина.

В прошедший год, выстаивая часами в очередях к различным притюремным окошкам, я слышала обрывки разговоров, из которых уяснила, что над политическими заключенными суда в обычном представлении не бывает, срок наказания определяет ОСО (Особое совещание).

Почему меня так долго никуда не вызывают? Забыли обо мне, что ли? А вдруг это самое ОСО уже приговорило меня к одиночному заключению, вот так и буду теперь тут сидеть…

Мне сделалось страшно.

В камере не было окна, и я потеряла ощущение времени; внезапно у меня начался какой-то психоз: самым важным показалось немедленно узнать, что сейчас на дворе — все еще ночь или уже утро?

Подошла к двери, постучала. Замок (или засов?) лязгнул, в камеру заглянул надзиратель:

— Чего тебе?

— Который час?

Он посмотрел на меня оторопело, захлопнул дверь. Лязгнул замок. Я почувствовала в горле жесткий ком — предвестник слез — и сосредоточилась на том, чтобы не заплакать.

Но вскоре ком в горле исчез: начались события.

Сначала меня отвели в душ (явно для галочки: вода была чуть теплая, и надзиратель, когда я на это посетовала, крикнул из-за двери: «Не хочешь — не мойся, главное — волосы смочи»).

Потом был обыск.

Вещи, вытряхнутые из наволочки на большой стол, осматривала хмурая тетка в военной форме и в берете.

Ее внимание сразу же привлекли капроновые чулки.

— Небось с американцем гуляла, — заключила она. Я побожилась, что никакого американца у меня никогда не было, но она явно не поверила, — я осеклась и пожалела, что не сумела надменно промолчать. Под левым манжетом ее гимнастерки угадывались часы.

— Скажите, пожалуйста, который час?

Она словно и не слышит; с бабским интересом посмотрела сквозь капрон на лампочку; сунула чулки обратно в мой узел, сказала ворчливо:

— А вот у моей дочки — нету таких… Раздевайся.

— Как?!

— Обыкновенно. Все сымай.

Ловкими, натренированными пальцами она прощупала в моем платье швы, воротник, манжеты, спорола пуговицы, из трусов выдернула резинку; вместе с поясом от платья, шарфом и поясом — держателем чулок отложила в сторону.

Все это время я стояла в классической позе стыдливой купальщицы.

— Одевайся.

Я поспешно накинула платье, надела простые чулки и потянулась было к поясу с резинками, но она молча сгребла все отложенное, свернула в тугой узелок.

Я знала, что у заключенного отбирают ремень или подтяжки, дабы он на них не удавился. Поэтому изъятие пояса от платья и шарфа восприняла как должное; но резинки! Поняла так, что резинки отобрали не из опасения самоубийства, а с целью унизить и тем самым деморализовать. В самом деле, трусы кое-как держались, прижатые узким платьем, но как только надзиратель повел меня с моим узлом по коридору, я стала путаться в сползающих до полу чулках, поминутно наклонялась, подтягивала их свободной рукой, они снова сваливались.

Меня отвели в бокс, но вскоре вызвали («Без вещей!») — взяли отпечатки пальцев и сфотографировали. И у печатальщика (или как еще его назвать?) и у фотографа спрашивала:

— Который час?

Первый буркнул угрюмо:

— Не знаю.

— Что хоть сейчас — ночь или утро?

— Не знаю.

Фотограф тоже ответил: «Не знаю», но при этом посмотрел на меня вроде бы виновато.

— Скажите! — взмолилась я. — У вас же часы на руке!

Он промолчал.

До сих пор не могу понять, что за тайна?..

Фотограф снял меня — фас и профиль; вспомнилась тюремная фотография Маяковского в школьном учебнике литературы. Опять подумала: «Как интере-е-есно!»

Сижу в боксе, как мне кажется, очень долго. К тому времени уже сообразила, что это — временное помещение: в камере, насколько я знала, непременно должна быть параша. Видимо, меня переведут отсюда в другую камеру. Скорей бы переводили! Этот чулан мне уже осточертел!

— С вещами!

Обрадованно вскакиваю с табуретки, хватаю узел, выхожу с замирающим сердцем: куда-то сейчас попаду?..

Надзиратель ведет меня по коридору, поднимаемся по лестнице, снова коридор, снова лестница — на этот раз вниз, еще коридор, мы останавливаемся перед какой-то дверью с глазком, надзиратель ее распахивает, шагаю через порог… это все тот же бокс!

Кем-то уже было замечено, что в тюрьмах и лагерях в вопросах гигиены первое место отводилось чистоте полов. У заключенных эта неустанная забота администрации носила название «половой вопрос».

Позже я поняла: вывели на несколько минут для того, чтобы сделать уборку — пол в боксе влажно блестел.

То, что меня — с моим нелепым узлом да в сползающих чулках — заставили ходить вверх-вниз по лестницам только для того, чтобы привести туда же, я восприняла в ту ночь как явное и к тому же утонченное издевательство.

За спиной хлопнула дверь — я разревелась.

Швырнув узел на тумбочку, уткнулась в него лицом…

Наревевшись всласть, я сидела, тупо глядя в стену. Спать не хотелось, но бессонная ночь давала себя знать каким-то звонким гудением в голове.

Неожиданно — настолько неожиданно, что я не поверила ушам, — послышался голос Гайры. И тут же — чье-то шипение:

— Тш-ш-ш…

Я вскочила, припала к двери.

— Тут у вас моя сестра, ее увезли ночью… — очень громко говорила Гайра (потом она рассказала: на то и рассчитывала — я услышу и по крайней мере буду знать, что ее тоже забрали).

— Тш-ш-ш…

— Она забыла взять с собой мыло! Можно ей передать?

— Тш-ш-ш…

Я заколотила в дверь кулаками:

— Гарка, я тут! Гарка!

— Зайка! Зайка!

Хлопнула какая-то дверь — и все стихло. Минуту спустя — я еще прижималась к двери — ко мне влетел разъяренный толстяк с лычками на погонах. Оттеснив меня от двери и закрыв ее за собой плотно, он все равно приглушал голос:

— Ты чего разоралась?

— Там моя сестра!

— Тш-ш-ш… Нет там никого.

— Я же слышала!

— Тш-ш-ш… Будешь кричать — посажу в место, там ты у меня живо зажаришься (точно не помню, возможно, он сказал, замерзнешь, но угроза была связана именно с температурой этого другого места, видимо карцера).

Я вообще не храброго десятка и тут малость струхнула, но, чтобы он об этом не догадался, набычилась, сжала зубы и не мигая смотрела ему прямо в глаза. Бросив на меня еще один грозный взгляд, толстяк ушел.

Все кончено! Раз Гайру тоже арестовали, надеяться на то, что разберутся и отпустят, глупо. Значит, есть какая-то причина?.. Но каково коварство красивого майора! Выходит, он явился к нам с двумя ордерами на обыск и арест, почему бы не сказать об этом сразу, а не устраивать спектакль? То-то он остался, когда меня увезли… Как здорово получилось, что мы с Гайрой услыхали друг друга! Они хотели нас одурачить (вернее, меня, чтоб я тут сидела и думала, что Гайра на свободе) — не вышло! Недаром этот толстяк обозлился, возможно, ему за нас попадет…

Я даже немного развеселилась, но потом подумала о маме — и снова приуныла: теперь — без нашей поддержки — она обречена: знающие люди говорят, что, не получая посылок, в лагере не выжить…

Вскоре надзиратель принес еду — пайку черного хлеба, пару кусков сахара, кружку с чем-то горячим. Ни есть, ни пить не

хотелось, сахар сгрызла.

Мне вспомнилось: Гайра сказала, что меня увезли ночью. Наверное, уже утро, а еда — завтрак. Ага, начинаются, так сказать, тюремные будни. Надолго ли? На восемь лет? На десять?

Должно быть, я все-таки сильно устала за эту ночь, на меня нашло какое-то странное — веселое и злое — безразличие: ну и пусть!

Дверь отворилась.

— С вещами!

Стянула с тумбочки свой узел, без прежнего ожидания перемен поплелась к двери.

— Хлеб возьми, — напомнил надзиратель. Вернулась, сунула пайку в наволочку, вышла в коридор.

Меня снова повели какими-то коридорами и лестницами, потом мы прошли через двор (был белый день, и, вдохнув свежего воздуха, я сразу взбодрилась), поднялись на второй этаж, подошли к решетке, перегораживающей довольно широкий коридор.

В нос ударил резкий запах дезинфекции (так иногда пахнут пропитанные каким-то составом железнодорожные шпалы), к нему примешивалось зловоние общественной уборной, я поняла, что за дверями по обе стороны перегороженного решеткой коридора — камеры.

У решетки меня передали другому — коридорному — надзирателю, он подвел меня к двери под № 10, приказал:

— Лицом к стене!

Пока он возился со связкой ключей, я старалась вообразить, что там, за дверью. Наверное, огромная камера с каменным полом и темным сводчатым потолком, на нарах — наголо обритые арестанты в полосатых штанах и куртках (почему-то мне не пришло в голову, что в тюрьме женщины сидят отдельно от мужчин).

В камеру вошла внутренне съежившись от страха, но подбородок вздернула как только могла.

Сравнительно небольшая — метров двадцать — комната с навощенным паркетным полом (позже я узнала, что в этом здании помещались когда-то меблированные комнаты «Империаль»). Никаких нар: железные, наподобие больничных, кровати, у стены обитый кухонной клеенкой стол. В углу возле двери параша — обычный цинковый бак под крышкой, в каких кипятят белье. В передней стене окно, снаружи загороженное щитом (по тюремной терминологии, намордником), укрепленным наклонно: вплотную к подоконнику, немного отступя сверху, так что воздух через открытую форточку, а также дневной свет, хоть и скудно, но все

же проникали в камеру, что после бокса показалось мне особенно отрадным. Батарея центрального отопления в стене забрана мелкой металлической сеткой.

Все это в подробностях я разглядела чуть позже, а тогда прежде всего с огромным облегчением увидела не толпу полосатых арестантов, а пять интеллигентного вида женщин.

Когда за приведшим меня надзирателем закрылась дверь, ко мне подошла самая из них молодая.

— Ты, наверное, из университета? — спросила она.

— Нет, из потемкинского, — ответила я и, подумав, что она не случайно спросила про университет, должно быть, сама студентка МГУ, добавила: — Из университета — моя сестра.

— Как ее фамилия?

— Веселая.

— Гайра?

Чуть не бросилась ей на шею:

— Да!

— Я тоже училась на истфаке. Она ведь сейчас на пятом курсе?

— Она сейчас в тюрьме…

— Господи!.. Как тебя зовут? Я — Наташа Запорожец.

Никогда не слышала я от сестры о Наташе, но она знала Гайру! — этого было достаточно, чтобы ощутить спокойную уверенность: я больше не была один на один с тюрьмой, меня взяли под крыло…

Яркая лампа под потолком горела ночь напролет (перед сном женщины прилаживали на глаза повязки), но мне в первый вечер свет ничуть не мешал: заснула, как только коснулась головой подушки.

Не слышала, как открылась дверь (а открывалась она всегда с каким-то зловещим лязгом), проснулась только тогда, когда потрясли мою кровать.

Рядом стояла надзирательница.

— Фамилия? — спросила она. Я сказала.

— Инициалы полностью?

— Что-о?

— Инициалы полностью! — нетерпеливо повторила она.

Я не могла понять, чего ей от меня надо. — Имя-отчество, — подсказала с соседней койки Наташа.

— Заяра Артемовна.

— На допрос.

Существовал такой порядок: надзиратель, обращаясь к заключенному, никогда не называл его по фамилии — тот сам должен был себя назвать. Мне объяснили это следующим

образом: вдруг надзиратель ошибется дверью и назовет Иванова Петровым, тогда Иванов догадается, что в одной из соседних камер сидит Петров, возможно, его знакомый, а может, и поделыцик. Ночью, когда все спят, вопросом о фамилии будили лишь требуемого человека. Днем ритуал был более сложным. Надзиратель спрашивал, ни к кому не обращаясь:

— Кто на Кы?

— Я.

— Фамилия?

— Кузнецова.

— Инициалы полностью?

Если фамилий на «Кы» было несколько, надзиратель тыкал пальцем в каждого, пока не услышит той, что нужна в данный момент.

Кроме того, ведь могут быть однофамильцы и даже с совпадающими инициалами — отсюда эти немыслимые инициалы полностью. У решетки надзирательница передала меня конвойному, и тот повел какими-то бесконечно длинными коридорами. Приближаясь к очередному повороту и на лестничных маршах он принимался звонко цокать языком — было ощущение, что мне в затылок вбивают гвозди.

Смысл такого цоканья — сигнал: веду заключенного (дабы не произошло нежелательной встречи с другой подобной парой).

— Ты что же это, Заяра, нарушаешь режим? — не строго, а скорее добродушно стал выговаривать мне следователь, едва я переступила порог его кабинета и мы оглядели друг друга (был он в штатском и по виду мог бы сойти за обыкновенного служащего в каком-нибудь обыкновенном учреждении). — Колотишь в дверь, кричишь… У нас так себя вести не положено. У тебя что, мыла нет? Вот будет ларек — купишь. Садись, — он указал на стул, стоявший у стены напротив его стола.

Представившись (не помню, какой у него был чин, кажется старший лейтенант), Мельников предупредил, что, обращаясь к нему, я должна называть его не товарищ следователь, а гражданин следователь. После чего перешел с места в карьер:

— Ну?.. Признавайся в своих преступлениях.

Меня удивили не сами слова (я ждала чего-нибудь подобного поскольку на допросе и положено спрашивать о преступлениях), удивил спокойный, какой-то будничный, без малейшей экспрессии тон (позже я узнала от тюремных подруг, что Мельников в ту ночь произносил эти самые слова не единожды). Пожав плечами, ответила, невольно впадая в тотвялый тон:

— Мне не в чем признаваться.

— Подумай, — сказал Мельников и, больше не обращая на

меня внимания, принялся рыться в бумагах.

Пауза затягивалась.

Но вот следователь вышел из-за стола и протянул мне листок:

— Ознакомься с обвинением.

В бумаге говорилось, что как дочь врага народа Кочкурова Николая Ивановича (он же — Артем Веселый) и осужденной по статье 58–10 Лукацкой Гиты Григорьевны я обвиняюсь по статье 7-35 (СОЭ).

Если бы не слова враг народа и осужденная, листок у меня в руках можно было бы посчитать за машинописную копию моей метрики. И это — обвинение?!

Я спросила, что за статья и что означает СОЭ. Оказалось, что по статье 7-35[2] судят социально-опасный элемент, сокращенно — СОЭ.

Возвращая бумагу Мельникову, я, хмыкнув, сказала, что нелепо было бы отрицать родство с родителями.

Следователь не стал углубляться в эту тему, велел мне расписаться, что я ознакомилась с обвинением, и, вызвав конвой, приказал меня увести.

Шагая длинными коридорами («Руки — назад!»), я думала, что предъявленное обвинение не так смешно и нелепо, как показалось мне в первую минуту: ведь сажали в 37-м жен врагов народа, возможно, теперь пришел наш черед — подросших детей.[3]

Но ведь Сталин ясно сказал: сын за отца не отвечает. Как же мне сразу не вспомнились эти знаменитые слова? Следователю и крыть было бы нечем!

Когда через день или два меня снова привели в кабинет следователя, я первым делом спросила: мол, как же так?..

Указав, что мне не положено задавать вопросов («Вопросы здесь задаю я»), Мельников тем не менее принялся отвечать очень обстоятельно, призывая меня понять, что, хотя сын за отца, безусловно, не отвечает, в данном случае наша с сестрой временная изоляция — вынужденная мера, так надо.

Не помню дословно его доводов, но они сводились к следующему. Поскольку я, вероятно, сочувствую репрессированным родителям, у меня в этой связи могут быть («А в душу не заглянешь!» — присовокупил следователь) обида, недовольство, словом — антисоветские настроения.

— Допустим, у тебя их нет, — говорил Мельников. — Допустим. Но ведь могут быть? В принципе?

И я сказала:

— В принципе — да.

— Вот видишь! А теперь сама посуди: что, если эти настроения будут использованы вражеской агентурой? Ты же должна понимать, какая сейчас сложная международная обстановка!

Про международную обстановку я понимала. Не понимала, какой от меня мог бы быть прок вражеской агентуре. Но что возразить ему, сотруднику Министерства государственной безопасности, уж он-то, конечно, лучше меня разбирается в проблемах, связанных с вражеской агентурой и социально-опасными элементами, коим в душу, и в самом деле, не заглянешь.

Вернувшись в камеру, я снова и снова прокручивала в голове доводы Мельникова.

«Выходит, так надо… — думала я. — Конечно… Кто же станет спорить против очевидного: общественные интересы важнее личных!»

На Лубянке я пробыла до 23 мая — ровно месяц. Еще два или три раза водили меня на допросы, почему-то всегда среди ночи.

Следователь держался вполне корректно. Я была благодарна ему за это, радовалась, что он же, а не другой ведет дело Гайры: в камере приходилось слышать о том, что некоторые следователи во время допросов кричат и матерятся.

Неторопливо и размеренно вел Мельников допрос, четким округлым почерком записывал в протокол свои вопросы и мои ответы.

Вопросы были однообразны: почти про каждого, кто бывал у нас в доме, он спрашивал, нет ли у того антисоветских настроений, не вел ли соответственных разговоров.

Особенно останавливался на тех, чьи родители были репрессированы.

— Нет? Но ведь у нее отец арестован… Ты вспомни, вспомни… Нет? Ну, ладно… Прочти. Распишись.

Один из его вопросов навел меня на мысль, что в нашей студенческой компании был осведомитель. Заподозрила задним числом одного парня.

У него была привычка задавать кучу вопросов: непременно расскажи ему, где вчера была, с кем, кто там был еще, как кого зовут, кто где учится, о чем говорили. Расценивая эти вопросы как повышенный интерес к моей особе (парень мне нравился), я охотно отвечала, но иной раз удивлялась: «Какой ты любопытный!» — он отвечал: «Я любознательный».

Однажды мы с Гайрой затеяли почистить ящики письменного стола; набралась куча бумаг на выкид, среди них несколько писем. Я сказала, что выбрасывать письма на помойку не годится,

письма полагается сжигать! За неимением камина поставила посреди комнаты таз, кинула в него бумаги и подожгла. Как раз в это время пришел «любознательный» студент, заметался вокруг огня, пытаясь выхватить из пламени хоть листок: мол, интересно, что у вас тут за секреты… Мы со смехом его оттаскивали. Если он и в самом деле был осведомителем, то, наверное, мог бы, немного пофантазировав, подвести под монастырь нас, наверняка уже взятых на заметку в связи с недавним арестом мамы и с исключением сестры из комсомола. (Сосед, донесший на маму, кроме американского пенициллина, добавил еще кое-что — сам придумал.) Видимо (и тут надо отдать этому парню справедливость), он ничего не домысливал, меж тем мы с сестрой — не для протокола допроса, а на самом деле — никогда и в мыслях не держали никакой крамолы: были восприимчивыми воспитанниками советской школы и — главное — советской литературы.

Я была уверена, что отец не враг народа, читала и любила его книги, но, вопреки предположениям следователя, у меня — ни сразу после ареста отца, ни в дальнейшем — не возникло враждебности не только к советской власти, но даже к органам НКВД: в детстве усвоила бывшую тогда в большом ходу поговорку лес рубят — щепки летят. И не было сомнений в том, что лес рубить необходимо: с октябрятского возраста знала и про капиталистическое окружение, и про обострение классовой борьбы, с волнением в груди читала со сцены на школьных утренниках стихи Михалкова про пионеров, которые поймали шпиона и диверсанта. Шпионов и диверсантов надо ловить и сажать в тюрьму. А моего папу посадили по ошибке: лес рубят… И папу Иры — по ошибке, и дедушку Марины…

Была уверена в невиновности отца и никогда не скрывала (наоборот, надо не надо — говорила), что он арестован. Отступила от этого правила один-единственный раз.

Во время войны мы с мамой, эвакуированные из Москвы, оказались в уральской деревне. Мама самостоятельно — без врача — работала на медпункте и как лекарь пользовалась у колхозников большим авторитетом. На расспросы о муже она, чтобы не вызывать кривотолков, не поминала ни про развод, ни про арест, а говорила, что он пропал без вести, с одной стороны, это было чистой правдой, с другой — явной ложью, поскольку без вести в то время пропадали на фронте, и получалось, что отец на войне. Мама и меня просила не проговориться: узнают в деревне, что отец сидит, станут коситься, могут выгнать с работы. Я пообещала держать язык за зубами.

В деревне я заканчивала семилетку. Весной подошло время

вступать в комсомол, о чем я уже давно мечтала; скрыть что-либо от комсомольской организации было бы немыслимым для меня святотатством. Но и нарушить слово, данное матери, я не могла. Объявила, что вступать в комсомол не буду, чем изумила одноклассников и учителей. На все уговоры сначала подавленно отмалчивалась, потом придумала причину: хочу, мол, вступить в комсомол в родной Москве.

Комсомолкой я так и не стала: в старших классах московской школы была троечницей, а когда вступала на первом курсе института, как раз посадили маму, я сообщила об этом во время приема в райкоме и — тут же получила от ворот поворот.

Мельников конечно же обратил внимание на то, что я не комсомолка, но, узнав в чем дело, больше к этому не возвращался.

В камере у одной меня была 7-35. «Легкая статья». — говорили сокамерницы и уверяли, что нас с сестрой просто вышлют из Москвы. Радуясь в душе, что мне не грозит, как остальным, лагерь (у всех была 58-я), в то же время испытывала я перед ними чувство вины, какое бывает у здорового перед тяжелобольными.

Ни одна из женщин в 10-й камере не была похожа на шпиона и диверсанта. И у каждой была своя трагедия (только о Лизе я ничего не знала: держалась она замкнуто, о себе ничего не рассказывала; в те поры, как известно, вообще лучше было помалкивать).

Мария Александровна, преподаватель вуза, тяжело переживала разлуку с сыном-школьником. (Ее муж, профессор, тоже сидел в тюрьме.)

У Тони, после ареста ее и мужа, остался трехлетний Генка. Родственники есть, но возьмут ли? Или он уже в детдоме? Как она говорила, муж, рассказавший в компании анекдот, по доносу одного из приятелей сел за антисоветскую агитацию, а Тоня — за недоносительство.

Самая большая трагедия была у женщины, имени которой я не помню. Следователь говорил ей во время допросов, что ее двенадцатилетняя дочь, оставшаяся совершенно одна в Ростове-на-Дону, стала проституткой. Сокамерницы пытались утешить несчастную мать, говоря, что это немыслимо, абсолютно невозможно, что дочь конечно же в детдоме; женщина, уставившись одну точку невидящим взглядом, отвечала чуть но: «Я тоже так думаю. Он врет».

У Наташи не было детей, она была беременна.

В четырнадцать лет, после ареста родителей, Наташа осталась вместе с младшим братом на попечении старого деда, а

по существу, на собственном попечении, узнала самую черную нужду. В начале войны ушла добровольцем на фронт, защищала Москву, потом поступила на истфак МГУ, уже заканчивала аспирантуру, только-только вышла замуж…

И вот очутиласьза решеткой.

Месяц пробыли мы вместе с Наташей в 10-й камере — дружим до сих пор. О том, что произошло с нею после того, как мы расстались, она рассказала мне через несколько лет, когда мы снова встретились.

Наташа отказалась подписать протокол в сфабрикованной следователем Макаренко формулировке. Исчерпав крик и угрозы, следователь заставил Наташу встать у стены и долгими часами держал ее — уже с большим животом! — на ногах. Она теряла сознание, падала, ей давали понюхать нашатырь — и снова ставили у стены. Этого протокола она так и не подписала. Приговорили ее к пяти годам ссылки в Кокчетавскую область. Беременность протекала крайне неблагополучно, что было выявлено тюремными врачами, но Наташу, вместо того чтобы додержать до родов в больнице, отправили в дорогу: после месяца, проведенного в тяжелейших условиях этапа, она в первый же день по прибытии к месту ссылки родила мертвого ребенка.

Еще и теперь случается иной раз слышать разговоры, что при Сталине, мол, было больше порядка; или что были лучше продукты; или что была дешевая водка. В таких случаях мне всегда вспоминаются слова Некрасова: «Была капель великая, да не на вашу плешь…»

В один из дней мы вшестером вернулись с прогулки по тюремному двору — в камере сидела и плакала средних лет женщина. Когда мы вошли, она подняла голову, оглядела нас и, указав на меня, воскликнула:

— Боже! Уже и школьников сажают!

Я вступилась за советскую власть:

— Ничего подобного! Школьников не сажают, я — студентка…

Наступил май, в камере было невыносимо душно, еще сильнее смердила параша.

Медленно тянулись бездельные дни, привычными делались тюремные порядки, однообразие быта становилось все более тягостным.

Ни единая ночь не проходила спокойно. Иногда кого-то будили на допрос (от лязга замка просыпались все). Часто просыпались по моей вине.

По тюремным правилам заключенный во время сна обязан держать руки поверх одеяла. «Почему?» — спросила я у

сокамерниц. Мне ответили с усмешкой: «Чтобы ты себе вены тайком не вскрыла».

Всякий раз с вечера я добросовестно выпрастывала руки наружу. Неудобно, неуютно — никак не заснешь (к тому же отбой давался в непривычно для меня ранний час). Но стоило задремать, как я непроизвольно натягивала одеяло на плечи. Скрежетал замок, надзиратель тряс мою кровать:

— Руки!

Молодой сон крепок, я, хоть и чувствовала раскаянье, что из-за меня разбудили всех, снова мгновенно засыпала; другие, как утром шептала мне Наташа, долго ворочались и досадливо вздыхали. Но вот все заснули.

— Руки!

Поднимали нас чуть свет, говорили(хотя часов ни у кого, естественно, не было): в шесть. Для меня такое раннее вставание мука, потом весь день хотелось спать, но это строжайше запрещалось, даже лежать было нельзя — только сидеть на койке. А сидеть целый день, особенно после ночного допроса, очень трудно: так и тянет прилечь. Правда, старожилы знали, когда можно вздремнуть хоть десять минут. Был известен характер каждого из надзирателей и надзирательниц, у каждого было свое прозвище. Иной раз кто-нибудь с утра говорил:

— Ура! Сегодня дежурит Амалия.

Это означало, что можно наконец отоспаться или даже почитать лежа: Амалия если и поглядит в глазок, то пройдет мимо.

Самой вредной была молодая румяная деваха с крутой шестимесячной завивкой. Будучи среднего роста, она почему-то прозывалась Шура-Дура-Выше-Всех. У этой, бывало, днем не поспишь и не полежишь. Однажды она нас насмешила.

Тоня плохо себя чувствовала и — прилегла. С грохотом вламывается Шура-Дура.

— Встаньте! Лежать на койке не положено!

Тоня покорно села на кровати. Но как только за Шурой закрылась дверь, снова легла.

Открыв дверь с еще большим грохотом, Шура заорала:

— Встаньте! Вы что, порядка не знаете?! Первый раз в тюрьме?!

Понятное дело, она хотела сказать: первый день. Но Тоня, словно не заметив оговорки, ответила подчеркнуто кротко:

— Первый раз.

Мы дружно захохотали, Шура пулей вылетела за дверь.

— Не ложитесь, Тонечка, — попросила Мария Александровна, — а то она нажалуется старшому — еще,

пожалуй, форточку закроют…

Закрыть форточку — мера наказания, за провинность одного, всей камеры.

День в камере начинается с оправки — коллективного посещения уборной. Оправка происходит дважды (второй раз вечером) и обставлена неким ритуалом. Сначала надзиратель предупреждает:

— Приготовиться к оправке! — и уходит.

Значит, уборную заняла другая камера, следующие на очереди — мы. Выстраиваемся перед дверью парами.

Дверь открывается вторично: можно выходить. Передняя пара — дежурные — берет за ушки наполненный бак, и вся процессия медленно (чтобы не расплескалось) и поэтому вроде бы торжественно направляется в конец коридора. Я смотрю на двери камер, из-за которых в коридор не доносится ни малейшего звука, и гадаю, за которой из них Гайра (говорили, что наш этаж сплошь женский и другого такого на Лубянке больше нет). У двери уборной надзиратель вручает каждой из нас по крошечному кусочку бумаги и запирает за нами дверь.

Это лучшие минуты дня — безнадзорные, без глазка в двери. [4]

Оправка длится минут десять, за это время надо успеть: совершить необходимое, умыться как можно пространнее (ходила шутка: до пояса сверху и до пояса снизу), при том, что вода была, разумеется, только холодная, а также постирать кое-что из мелочишки (это было запрещено, но стирали; более крупные вещи стирали — хотя это тоже запрещалось — в бане, куда водили раз в десять дней).

После оправки — завтрак. Кружка горячей коричневой воды — то ли чай, то ли кофе, пайка черного хлеба, два или три кусочка сахара.

Куски сахара не совсем одинаковые по величине, дежурный тщательно раскладывает их на семь кучек, стремясь, чтобы кучки были более или менее равными. Для полной справедливости второй дежурный поворачивается к столу спиной, первый указывает на одну из кучек:

— Кому?

— Тоне.

— Кому?

— Зайке.

Каждый забирает свое: хочешь — съешь сразу, хочешь — растяни до вечера.

Еще одно утреннее действо — обход старшего надзирателя (возможно, я путаю: может статься, какого-то другого начальства,

помнится смутно, что иной раз их являлось двое-трое). В это время можно было обратиться с просьбой, к примеру, сказать, что тебе нужно к врачу или что ты просишь иголку. (Про иголку расскажу немного позже.)

Однажды я попросилась к зубному.

К врачу меня сопровождал совсем молодой, похоже деревенский, парень. По тому, как он цокал языком — старательно и даже задорно, я поняла, что он новобранец: его роль была ему внове и явно очень нравилась. Приведя меня в амбулаторию, он не остался дожидаться за дверью, а, видимо по инструкции, зашел со мною в кабинет, встал возле зубоврачебного кресла и буквально — думаю, уже не по инструкции, а из здорового деревенского любопытства — заглядывал мне в рот. Это было неприятно, я надеялась, что врач — немолодая толстая женщина — одернет его, но она молчала (она и со мной не сказала ни слова, мне подумалось, что, наверное, у нее под халатом эмгебешная форма. Кстати сказать, та врачиха — или медсестра? — которая иногда появлялась в камере вместе с надзирателем, смотрела на нас как-то враждебно). Когда дошло до бормашины и я завыла, конвоир очень похоже меня передразнил и залился смехом.

— Тебе бы так! — сказала я минуту спустя; он продолжал веселиться до конца приема. Когда же мы пошли «домой», он вновь преисполнился важности, грозно прикрикнул: «Руки назад!» — опять старательно зацокал.

Впереди, за изгибом коридора, послышалось такое же цоканье. Тотчас мой конвоир открыл в стене дверцу и втолкнул меня в узкий высокий ящик — подобие вертикально поставленного гроба. Мимо ящика — было слышно — прошли двое: один бодро стучал сапогами, другой шел словно бы через силу — шаги были грузные, шаркающие, наверное, конвоир вел старика. К врачу? На допрос? Кто он, этот старик?.. Почему-то я потом не раз вспоминала о нем, было его жалко.

Центральным событием дня, не считая обеда, бывала двадцатиминутная прогулка. Для нее не было установлено определенного времени, иногда в предвкушении ее проходила большая часть дня, но право на прогулку соблюдалось неукоснительно: при любой погоде желающий — отгуляет свои двадцать минут. Гуляли в небольшом глухом дворе, ходили по стеночке, кругами, в затылок друг другу. Часто в воздухе кружился пепел: где-то поблизости жгли бумаги.

Однажды не позвали на прогулку ни утром, ни днем, ни вечером. После отбоя мы, недоумевая, улеглись на покой. Тут появился надзиратель и спросил с утвердительной интонацией:

— На прогулку — не пойдете?

Пятеро отказались. Мы с Наташей ответили злорадно:

— Пойдем!

Он повел нас, но не во двор, а — впервые — на крышу. Плоская крыша была огорожена глухим парапетом, мы не могли видеть, что творится внизу, но в небе стояло зарево от городских огней, вдали — на высоких местах — точками светились окна, до нас доносились гудки автомобилей… Было ощущение, что мы попали на праздник; жаль, продолжался он всего двадцать минут.

Раз в неделю (или раз в десять дней — не помню) приходил библиотекарь, молчаливый сгорбленный старик, выдавал каждому по книге. Случалось, приносил что-то определенное — как-то ухитрялся запомнить просьбу, но чаще — что придется; потом мы обменивались книгами между собой. Как-то раз принес дотоле неизвестного мне Бориса Шергина, с наслаждением прочла «Поморщину-корабельщину». Вообще, тюремная библиотека была очень хорошая, говорили, что состоит она по большей части из книг, конфискованных у осужденных в 30-е годы. Любопытно, что запреты на авторов, действовавшие на воле, на тюрьму не распространялись: могли принести Замятина или Мережковского, Бруно Ясенского или Пильняка. Самая толстая книга прочитывалась разом, до следующего библиотечного дня чтения обычно не хватало.

Всех разговоров, конечно, не переговоришь, но и они надоедали, тем более что некоторые темы повторялись по многу раз. Придумывались способы хоть как-то разнообразить нудные, монотонные дни.

Например, на утреннем обходе одна из женщин просила иголку. Днем за ней являлся надзиратель, отводил ее в бокс, давал иголку и два кусочка ниток — белой и черной, можно было подшить подол, затянуть прореху. Оставшийся обрывок нитки припрятывался, потому что в камере — тоже что-то тайком зашивали.

Бутырки

Воронок привез нас во двор Бутырок.

Войдя в тюрьму, мы попали в просторный вестибюль с кафельным полом и рядом дверей по бокам. Двери были расположены близко одна от другой, арестантская смекалка подсказала, что это — боксы. Меня завели в один из боксов, расположенных по левой стене.

Не могу сказать, как япровела остаток дня и часть ночи: какой-то удивительный — полнейший! — провал в памяти; видимо, велико оказалось потрясение: против ожидания очутиться не за воротами, а в другой тюрьме с перспективой лагеря…

Дальше — помню. Отворилась дверь, пожилая надзирательница сказала мягко, словно больничная нянечка:

— Идем, я тебя в камеру отведу

— Который час?

— Четыре, начало пятого.

Из вестибюля мы попали в маленький внутренний дворик. Светало, было по-утреннему прохладно, остро пахло зеленью. То ли клумба была посредине дворика, то ли деревья посажены в кружок, во всяком случае, мы прошли — от двери к двери — по дуге, огибая центральную часть, я успела несколько раз вдохнуть свежего воздуха. Удивилась, какие большие листья на деревьях — когда в последний раз видела дерево, едва наклевывались почки. На ветках тучами сидели и оглушительно пели, пищали и чирикали какие-то мелкие птахи.

Мы поднялись на второй этаж. В отличие от Лубянки (я невольно сравнивала), где был глухой коридор, коридор Бутырок отчасти напоминал школьный: по левую сторону — ряд высоких дверей, по правую — ряд широких окон. Отметила и такое отличие: надзирательница не цокала языком, а постукивала ключом по ременной пряжке. Мы с нею прошли по коридору, и она впустила меня в дверь под № 93.

В свете занимающегося дня, проникавшего через два забранных намордником окна, я увидела большую камеру с кафельным полом, высоким потолком. Не знаю, сколько узников должно было помещаться в камере по замыслу архитектора, в то утро в ней находилось не менее полусотни женщин. Они спали вповалку на дощатых — с матрасами — настилах, сделанных — от окна до двери — по обе стороны довольно широкого прохода, где стоял стол. Все женщины лежали лицом к окну, лежали так тесно, что повернуться на другой бок могли только

одновременно.

Когда я вошла, многие, приподнявшись на локте, обернулись к двери.

Я стояла со своим узлом в растерянности: даже присесть было некуда. И тут услышала:

— Зайка!

— Гайра!

Не буду описывать нашу встречу: как говорили в старину, перо выпадает из рук.

По тюремному обычаю мне — новичку — полагалось место у параши. Но тут был особый — всех умиливший и растрогавший — случай, и я втиснулась между Гайрой и Майей Петерсон. За неделю, проведенную в этой камере, они успели переместиться от параши почти к самому окну.

Майя до ареста училась на третьем курсе МГУ, изучала древнегреческую филологию. Взяли ее за отца — бывшего коменданта КремляР. А. Петерсона.

Нина Златкина (вот уж точно в чужом пиру похмелье!) сидела по 7-35 за неродного дядю, теткиного мужа, правда, этим дядей был Рыков.

И Майю и Нину арестовали в ту же ночь, что и нас с Гайрой. Поначалу это показалось простым совпадением. Но вскоре встретились нам и другие арестованные дети. Никто из них не был взят ранее 23 апреля, видимо, эта акция началась именно той ночью.

На Лубянке не допускалось ни малейшего шума; в бутырской камере с утра до ночи стоял невообразимый гвалт. В одном углу просто болтали, в другом кто-то рассказывал про свою несчастную жизнь, в третьем смеялись над анекдотом: если в следственной тюрьме многие, опасаясь наседки, осторожничали, то теперь, что называется, отводили душу.

Иной раз недавняя студентка Московской консерватории, по нашей просьбе, соглашалась спеть; голос у нее был чудесный. Тогда смолкали все разговоры. Теснило грудь от пророчества Марфы: Тебе угрожает опала и заточение в дальнем краю…

В Бутырках на меня обрушилась лавина новых впечатлений, и в первые дни мне нравилось многолюдство камеры, но вскоре оно стало в тягость. Все, понятное дело, пребывали в нервном напряжении, временами возникали мелкие стычки. Правда, до крупных ссор и скандалов себя не допускали — возможно, из солидарности (понимали же, что у каждой — горе), возможно, из чувства самосохранения: не хватало, чтобы мы перегрызлись между собой!..

Как ни странно, но не знаю случая, чтобы кто-нибудь в

камере плакал; преобладало — во всяком случае, внешне — состояние не угнетенное, а возбужденное; подчас всех охватывало веселье (видимо, истерическое), тогда радовались каждой, самой незамысловатой остроте, шутили, подтрунивали над другими и над собой.

Однажды я услышала диалог двух приятельниц — женщин молодых, красивых, видимо, обеспеченных (обе разгуливали по камере в длинных шелковых халатах, украшенных драконами и хризантемами, что тогда почиталось — мною, по крайней мере — немыслимым шиком). Были они из другой — не студенческой — компании, я с ними ни разу не разговаривала и не знаю, по каким статьям они сидели.

— Чует мое сердце, влепят мне пятнадцать.

— Пятнадцать? А двадцать пять — не хочешь?

— Не хочу.

— Скажите пожалуйста! Я вот тоже не хочу, а если дадут — придется взять.

— Ясное дело, дают — бери…

Шутки шутками, но, возможно, им реально грозили такие сроки; я холодела, слыша эти жуткие цифры — 15, 25…

В нашем кружке бурное веселье вызвал рассказ Майи об ее аресте. Незадолго перед тем она вышла замуж за однокурсника. После случившегося с нею муж от нее отрекся. Разумеется, насмешило нас не это, а то, что Майка, когда ее уводили из дома, воскликнула: «За что?!»

Нам — да и самой Майке, — уже умудренным опытом, этот вопрос представлялся в высшей степени наивным и неуместным, а потому смешным. С тех пор за что? — слышалось по разным поводам — порвался ли чулок, или во время прогулки хлынул дождь.

Сидело в камере несколько молодых смазливых девиц. У них была та же статья, что и у нас, студенток. Социально опасными эти девицы считались по причине интимных связей с иностранцами.

Так что лубянская тетка, заподозрив при виде капроновых чулок, что я гуляла с американцем, не с потолка, оказывается, взяла свое подозрение.

(Пару лет спустя один бывший лагерник обратил внимание на шрам у меня на горле. Шрам — след трех фурункулов, мучивших меня в тюрьме. Лагерник, узнав, по какой статье я судима, понимающе спросил, полоснув себе по горлу пальцем: «Нож?»)

Девицы решительно отказывались признать себя проститутками, каждая рассказывала историю трогательной

любви к какому-нибудь Фреду или Отто. Я им верила безусловно: что за дикий поклеп! Одна из них производила впечатление интеллигентной девушки, остальные были очень уж примитивны и истории у них были соответственные, я скоро потеряла к ним интерес. Держались они стайкой, у них были свои разговоры, свои шутки. Так, у одной девицы было полотенце с вышитым цветными шелками изречением: Кого люблю — тому дарю. Однажды, когда девица среди дня заснула (лежать и спать разрешалось сколько угодно), ее подруги, давясь от смеха, спороли букву р.

Прогулки в Бутырках, по сравнению с Лубянкой, были более вольными: мы не вышагивали кругами, а просто толклись во дворе, грелись на июньском солнышке.

Книги нам давали, но в таком шуме и постоянном мельтешении читать было почти невозможно.

В Бутырках принимались передачи и деньги. Минка носила передачи и мне и Гайре, передала нам деньги.

Мы с Гайрой строили различные предположения насчет своего будущего. Лагерь, как мы все-таки надеялись, нам не угрожает. Но и про за ворота уже не мечтали: было очевидно, что для этого нас незачем было переводить в Бутырки — ворота есть и на Лубянке. Склонялись к мысли, что, после того как мы выберем себе место ссылки (почему-то надумали выбрать Иркутск), нас отправят туда — видимо, на определенный срок — прямо из тюрьмы, так сказать за казенный счет.

Что касается срока… К тому времени я как-то свыклась с мыслью о трех годах, возможно, потому, что именно на три года посылали на работу молодых специалистов по окончании вуза, и в своей прошлой жизни мы тоже — в перспективе — были к этому готовы.

Нас — человек десять, в том числе Гайру, Майку, Нину и меня — вызывают с вещами. Наконец-то!

— На приговор, — говорят остающиеся. — Ни пуха ни пера!

— К черту!

Мы спустились в вестибюль, нас всех заперли в одном из боксов, после чего стали по очереди выводить для объявления приговора.

Разумеется, я не рассчитывала увидеть судью в мантии и белом парике, но все же представлялось, что объявление приговора (!) будет обставлено как-то торжественно.

Ничего подобного. В небольшой комнатушке (чуть ли не в боксе) офицер-эмгебешник прочел по бумажке, что я решением Особого Совещания признаюсь виновной по статье 7-35 и приговариваюсь к ссылке в Новосибирск, сроком на пять лет.

Мне показалось, что меня ударили дубиной по голове.

Новосибирск — ладно; в конце концов что Иркутск, что Новосибирск — для меня большой разницы нет (правда, неприятно удивило, что не дали права выбора). Но срок! Не три, а целых пять лет! В ту минуту я не вспомнила о матери, отбывающей восемь лет (не ссылки — лагерей!). Мои пять казались мне за пределами мыслимого.

Позднее у меня было много времени для воспоминаний и размышлений, я старалась понять, почему как катастрофу восприняла объявленный срок.

В общем-то это объяснимо. Вся моя сознательная жизнь, не считая совсем уж детских лет, пришлась на 40-е годы — война, старшие классы школы, институт, — менялась только последняя цифра. 1954 год — это, как мне тогда представлялось, будет уже какая-то другая эпоха… После приговора меня отвели не в прежний бокс, а в соседний.

Следом за мной пришла Майка:

— Пять лет, Новосибирск.

Потом Нина:

— Пять лет, Новосибирск. А у вас?

— То же самое. Одно хорошо: по крайней мере будем все вместе.

Последней пришла Гайра:

— Пять лет, Караганда.

— Караганда?! Мне — Новосибирск…

— ?!

Что это — ошибка: кто-то, вынося приговор, не обратил внимания на то, что мы — сестры? Или же преднамеренное ужесточение нашей участи?

Нас отвели в другой тюремный корпус, в небольшую, возможно одиночную, камеру, поместили там впятером; на ночь в проходе Между кроватями ставилась обычная дачная раскладушка.

Мы с Гайрой сразу же написали заявление на имя министра МГБ Абакумова, просили заменить Гайре Караганду на Новосибирск.

Однако через два или три дня нас, ничего не меняя, отправили к местам ссылки.

Первый этап

По тюремной терминологии про заключенных, отправляемых под конвоем из одного пункта в другой, говорится, что их взяли на этап.

Наш первый этап: Бутырки — Куйбышевская пересыльная тюрьма (до Куйбышева мы ехали вместе с Гайрой).

Воронок, в котором нас везли на Казанский вокзал, был набит настолько плотно (в кабинках сидели, в коридорчике стояли), что нам с Майкой физически не хватило места. Конвоиры, которым полагалось помещаться по обе стороны задней зарешеченной дверцы, были вынуждены примоститься вдвоем на одном сиденье, предоставив другое нам с Майкой. Таким образом, мы получили неожиданную и счастливую возможность бросить прощальный взгляд на московские улицы.

При подъезде к Комсомольской площади воронок остановился перед светофором. Гляжу, по краю тротуара идет Володя Котов — студент старшего курса нашего института (мы учились неподалеку, в Гавриковом переулке), идет не спеша — и ест бублик. Обрадовалась ему, как родному, хотя были мы едва знакомы. Первое побуждение — окликнуть (зарешеченное окошко, по жаркому времени, было без стекла). Но тут же возобладала здравая мысль: вряд ли человек обрадуется, если его окликнут из нутра черного ворона!..

Всегда — до того самого дня — полагала, что вагон с решетками на окнах в голове каждого пассажирского поезда — вагон почтовый. Оказалось — не почту в нем перевозят, а заключенных, и называется он — вагонзак, а еще — столыпинский.

Вагон — обычный пассажирский, но переоборудованный; в купе вместо окна — маленькое оконце на уровне верхних полок, каждое купе отгорожено от коридора решеткой. Один конвоир, прохаживаясь по коридору, имеет возможность наблюдать сразу за всеми. Не знаю, сколько нас затолкали в вагон (в других купе ехали мужчины), в нашем — женском — было человек двадцать.

Когда поезд тронулся, я попыталась настроиться на минорный лад — как-никак знаменательный момент: разлука с Москвой! Но мне это не удалось: было тесно, душно, Нина корчилась и стонала (у нее больные почки, как раз начался приступ), какие-то бабы на верхней полке матерились, несколько мужских голосов требовали от конвоира, чтобы тот скорей начал выпускать в уборную. (Когда дошла очередь до нас, оказалось, что дверь в уборную надлежит оставлять нараспашку; против нее, у

окна, помещался конвоир.)

Ехали, как мне показалось, очень медленно и долго (безусловно, ехали как положено: ведь это был обычный пассажирский поезд). Наконец остановились у большого вокзала, кто-то прочел:

— Куйбышев!

— Самара, — сказала Гайра, как истая волжанка. В детстве она не раз бывала тут с отцом, это его родной город.

Куйбышев

Куйбышевская пересыльная тюрьма. Несколько длинных деревянных бараков. Внутри — дощатые голые нары в два яруса. Нам досталось место внизу. По доскам над головами клопы бегали даже при свете дня, но пол в бараке был идеально чист; некрашеный, он ежедневно оттирался голиком с песочком и отмывался до матовой желтизны, как стол у хорошей деревенской хозяйки. Глядя на этот пол, я с ужасом думала, что когда-нибудь наступит день и моего дежурства…

В бараке мы присоединились к москвичкам, которых Гайра и Майка знали по бутырской камере.

Вспоминаю двух из них: Инну и Софью Сергеевну.

Инна Гайстер, студентка последнего курса физфака МГУ, была одного с нами «набора»: ее отец А. И. Гайстер, вице-президент ВАСХНИЛ, был расстрелян в тридцать седьмом. За ней пришли в ночь на 23 апреля, но она — дело было накануне защиты диплома — ночевала у подруги. Днем состоялась защита, после чего Инну вызвали в отдел кадров, где молодой человек в штатском, присутствовавший на защите от начала до конца, попросил ее пройти с ним. Предположив, что дело касается бывшего накануне распределения, Инна, радостно возбужденная удачной защитой, вышла с ним на улицу. Беседуя (спутник вспоминал хвалебные отзывы профессоров), они не спеша пошли по Манежной в сторону Дома союзов. Расстались в приемной МГБ на Кузнецком мосту, где другой молодой человек предъявил Инне ордер на арест.

У Инны и Наташи Запорожец был общий следователь. С Инной Макаренко держался очень любезно. Ведь ему не нужно было добиваться от нее показаний: она, разумеется, не отрицала, что является дочерью своих родителей. Во время допроса следователь внезапно принялся консультироваться с Инной по работе Сталина «Марксизм и национальный вопрос», видимо, готовился к политзанятиям. После Лубянки — Бутырки, потом — приговор: пять лет ссылки в Кокчетавскую область.

В Куйбышевской пересыльной тюрьме Инна пробыла дольше всех нас: куда-то задевались ее документы. Там, на несчастье, пришлось ей увидеть страшную расправу трех уголовниц над их же товаркой, которую, заподозрив в фискальстве, они на глазах у всего барака до смерти забили оловянными мисками.

Софья Сергеевна поразила мое воображение тем, что в молодости была знакома с Маяковским. Время от времени мы с ней читали наизусть его стихи.

Она была из так называемых повторников. Потом я встречала их во множестве, но тогда впервые узнала о такой категории ссыльных.

Отсидел человек с 37-го года свои восемь или десять лет, вышел на свободу, но при этом он непременно получал минус. Это означало, что ему не разрешается жить в Москве и других крупных городах (каких именно — точно не знаю, но нетрудно догадаться). Не имея возможности вернуться домой, к семье, мало кто уезжал в далекие края, как правило, человек оседал где-нибудь поблизости, но не слишком-то и близко: ему дозволялось обосноваться за 101-м километром.

Не могу тут не вспомнить дядю Борю. Был у меня дядя — муж родной маминой сестры Марии — Борис Львович. Приехав в Москву в начале 20-х годов, учился на рабфаке, потом в вузе, до 37-го был инженером-электриком, в том году был объявлен шпионом — то ли немецким, то ли японским. Можно вообразить, насколько удалось обосновать обвинение, если ему — шпиону! — дали тот же срок, что давали женам — восемь лет (зубы ему, правда, на допросе все-таки повыбили). В лагере он заработал язву желудка и потерял остатки зубов. Освободившись, поселился в Александрове (тетю Маню не тронули, она жила в Сокольниках, там же — всю жизнь — работала в районной библиотеке). Поступить на работу по специальности дяде Боре не удавалось, даже электромонтером его не брали, опасаясь с его стороны вредительства. Долгое время они делили на двоих (сын Ляся погиб на фронте в первые дни войны) нищенское теткино жалованье. Наконец дяде Боре повезло: он устроился истопником в какую-то котельную, получал сущие гроши; чтобы не тратиться на жилье, обитал в той же котельной — в подвале без окна. Раз в месяц он приезжал в Москву, при этом у него, тихого и робкого по натуре, да еще навек запуганного, было, как я полагаю, ощущение, что он переходит государственную границу. Переночевать у жены он не смел: она жила в коммуналке, оба панически боялись соседей, дома старались не засиживаться, а, наскоро перекусив, шли гулять в Сокольники. Я видела их на прогулке: дядя Боря односложно отвечал жене, больше помалкивал, сиял голубыми выцветшими глазами, потаенно улыбался беззубым ртом — блаженствовал. Пробыв в столице несколько часов (и ни на миг не забывая, что в то время, как он тут наслаждается жизнью, в Александрове его, может быть, уже хватились), дядя Боря возвращался восвояси — до следующей отважной вылазки в Москву. И так — годами… Умер он в Москве, вскоре после реабилитации, успев все-таки какое-то время пожить дома (в той самой коммуналке с враждебными соседями). После

его смерти мама обзванивала своих знакомых — некому было нести гроб…

В 49-м году многих бывших лагерников снова посажали в тюрьмы (дядю Борю, возможно, просто забыли в его подвале) — без всяких обвинений, только на том основании, что они уже отбывали срок, — приговаривали повторно, на этот раз к ссылке, без указания срока, до особого распоряжения.

Вот этих ссыльных и называли повторниками. Два года спустя, прежняя неопределенная формулировка до особого распоряжения, позволявшая повторникам надеяться на благоприятные перемены в их судьбе, была заменена (о чем их официально известили) на не оставлявшую никаких надежд: навечно.

В Куйбышеве мы оказались вместе с бытовиками (осужденными по так называемым бытовым — в отличие от политической 58-й — статьям), были среди них и уголовники. Встречались указники: в 47-м году вышел указ, предусматривающий уголовное наказание за хищение государственного имущества. Говорили, что кто-то получил срок за катушку ниток, кто-то — за пару горстей ржи, унесенных с колхозного поля.

Как только мы устроились в бараке, к нам с Гайрой подсели две девицы из бытовичек.

— Откуда, девочки? — спросили они.

— Из Москвы.

— А на какой улице жили?

— На Арбате.

Почему-то это привело их в восторг:

— Правда?! Не врете?

— Чего нам врать! Жили в Кривоарбатском переулке. А что?

— Так просто…

Оказывается, им случалось бывать в Москве, и теперь они устроили небольшой экзамен, который мы с честью выдержали; нам ли не знать арбатские киношки!

Результат этого экзамена был самый неожиданный: убедившись, что мы действительно с Арбата (дался им Арбат!), одна из них сказала:

— Подойдет ваше дежурство — вы за полы не беритесь, мы за вас вымоем.

— Вот спасибо!

Начался июль, стояло очень жаркое лето. По счастью, прямо против нашего отсека общих нар располагалось широкое окно с решеткой, но без намордника и без стекол; через него, особенно по ночам, к нам лился свежий воздух. Больше всего радовало

отсутствие намордника; лежа на нарах, я подолгу смотрела на проплывающие облака, вечером любовалась освещенными окнами: за тюремной оградой виднелась крутая гора, а на горе — два жилых дома, покрашенных светло-желтой веселенькой краской, похожие, как братья-погодки, один немного — на этаж или на два — выше другого. По вечерам в окнах домов зажигались разноцветные огни (в моде были шелковые абажуры), самих домов в темноте не было видно, казалось, огни висят в воздухе над горой.

Я побывала в Куйбышеве два десятка лет спустя; на этот раз как дочь Артема Веселого была почетным гостем на открытии Куйбышевского литературного музея. Встречалась с людьми, знавшими отца, записывала их воспоминания, просто гуляла по незнакомому городу.

Захотелось взглянуть снаружи на пересыльную тюрьму. Адреса и местоположения, естественно, не знала, заговаривать с прохожими, мол, как пройти к тюрьме, было неловко, стала искать, приняв за ориентир высокую гору с двумя приметными домами наверху. И нашла! Отыскались, правда, только дома на горе, что же касается тюрьмы, то ее, как мне сказали, давно снесли, на том месте построили гостиницу «Волга», в ней-то я как раз и жила!

Еще в начале нашего пребывания на пересылке Нина упомянула мельком, что в Куйбышеве у нее есть дальние родственники, семейная чета, оба — преподаватели вуза. Кормили нас — даже по тюремным понятиям — очень плохо, и Нина все чаще стала вспоминать о местных родственниках. Не знаю, каким образом ей удалось связаться с кем-то из вольнонаемных и послать через них записку родственникам с просьбой передать для нее что-нибудь из еды. Дальше события (за которыми все мы с интересом следили: все-таки случай из ряда вон — нелегальная связь с волей!) развивались так. По-видимому, родственники испугались явиться с передачей в тюрьму и тем самым обнародовать свою принадлежность к одиозной фамилии. Не откликнуться на просьбу они, по доброте душевной, не могли — и передали продукты с посланцем. И вот у Нины в руках неопрятный сверток, а при нем список вложения. На мятом клочке бумаги вкривь и вкось нацарапано чернильным карандашом: «Силет-ки. — 2 шт. Канфетки — 200 грамов» — и еще что-то в том же духе. Нина схватилась за голову:

— Явная подмена! Теперь этих несчастных родственников — от моего имени — будут доить и доить… Когда приедем на место, и я смогу написать им? Что я наделала!

Мы ее утешали, что напишет скоро: нас вот-вот должны были

взять на этап — минуло две недели, как мы сюда приехали.

У меня было двойственное чувство. С одной стороны, хотелось скорее добраться до Новосибирска. Меня занимала проблема: поступить ли в Новосибирском пединституте сразу на 3-й курс — тогда придется доздавать все весенние зачеты и экзамены (что мне, честно сказать, не слишком-то улыбалось) — или, уж так и быть, потерять год и начать опять со 2-го? С другой стороны — страшила разлука с Гайрой. Мы условились, что спишемся через тетю Аню — младшую мамину сестру (тете Мане мы писать не хотели, опасаясь за судьбу дяди Бори; Минкиного адреса я не помнила).

И вот наступил день нашего с Гайрой расставания.

Отправляемых в Новосибирск вывели во двор, остальных заперли в бараке.

Нас стоймя поставили («плотнее, плотнее, еще плотнее!») в кузовы закрытых брезентом грузовиков и повезли на вокзал.

Эшелон

Под погрузку — не на вокзале, а где-то в стороне, на запасных путях — был подан эшелон, состоящий из товарных вагонов (впрочем, не знаю, возможно, охрана размещалась в пассажирских, наш вагон был в хвосте, всего состава я не видела).

В вагон запускали по алфавитному списку. Я была третьей. Два лучших места — у окошек на верхних нарах — разумеется, оказались заняты. Говорю верхних в том смысле, что были они высоко расположены, нижних нар не было вовсе; тем, чьи фамилии начинаются на дальние буквы алфавита, придется располагаться на полу.

Я заняла третье от окна место, оставив второе для Майки.

С этого времени — и до конца сибирского периода моей жизни — мы с Майкой были неразлучны, поэтому, когда в дальнейшем буду говорить просто мы — это означает: мы с Майкой.

Нина предпочла остаться внизу: с ее больными почками было бы трудно взбираться на нары.

Долго стояли с задраенной дверью, изнывая от жары, тронулись только поздно вечером. Очень скоро проявилось одно крайне неприятное обстоятельство. В вагоне не было параши, вместо нее в стене, противоположной двери, было проделано узкое отверстие, в него, слегка наклонно наружу, был вставлен деревянный желоб из трех неструганых дощечек; что касается воды для слива, то мы, постоянно мучимые жаждой, получали по кружке во время больших остановок. Какой уж тут слив! Попасть в желоб на ходу поезда, когда вагон мотало из стороны в сторону, было цирковым номером, он редко кому удавался. Можно себе представить, во что превратился пол в радиусе метра от желоба в первые же два часа пути (нас в вагоне было человек сорок), а наш путь продолжался десять суток. Зловонное пятно на полу расползалось все дальше и дальше, и уже некуда было отодвинуться от него тем, кому досталось место на полу.

Мы, обитатели верхних нар, были, безусловно, в лучшем положении, чем люди внизу, хотя и нас донимала вонь. Кроме того, крыша, до которой можно было лежа дотронуться рукой, раскалялась за день, как железная печка.

Справа от меня жила Майка, слева — три монашки (так их все называли). Две средних лет довольно безликие женщины и старушка — улыбчивая, суетливая; с очень приятным и добрым лицом — баба Степанида. Не знаю, были ли они на самом деле монахинями; о себе говорили неохотно и невнятно, мол, страдают

за веру, одеты были во все черное, порой что-то сосредоточенно шептали, наверное молились. От скуки я попросила бабу Степаниду научить меня какой-нибудь молитве, она радостно согласилась, и вскоре я, к ее удивлению и удовольствию, без запинки знала «Отче наш».

Однажды я надумала перевоспитать монашек и бодро сообщила им, что бога нет.

— Как же нет? — возразила баба Степанида и, хитро улыбаясь, выставила в защиту бога неопровержимый аргумент: — Тогда откеда гром, откеда молния?

Я растерялась перед таким дремучим невежеством, принялась было что-то путано объяснять про природные явления, а также рассуждать о религии, но при этом, неожиданно для себя, обнаружила всю глубину собственного невежества. Коротко говоря, я еще раз убедилась в справедливости поговорки: не зная броду — не суйся в воду.

Мне бы расспросить бабу Степаниду о ее жизни — давней и недавней… Но судьба какой-то старухи-монашки тогда ничуть меня не занимала.

Запомнилось услышанное от нее народное присловье: «Попала лиса в капкан — гляди на небо!»

Эшелон не столько ехал, сколько стоял на запасных путях. Иной раз, когда становилось совсем невмоготу от духоты, я просила женщину у окошка пустить меня подышать; тогда мы ненадолго менялись местами.

Окошко почти под самой крышей представляло собой небольшое— с современную форточку — прямоугольное отверстие. Стекла в окне не было, а вместо решетки — две железные полосы, прибитые крест-накрест с угла на угол.

Однажды мы стояли на какой-то станции. Я сидела у окна. По соседнему пути с востока медленно — тормозя — двигался поезд. Когда он остановился, прямо против меня оказалось окно пассажирского вагона. Сначала я увидела свертки с едой и бутылку фруктовой воды на столике. В окне показалась женщина; заметив меня, она что-то сказала в глубину купе, и тут же к стеклу приникли еще две женщины и мужчина. Они смотрели на мое окошко с каким-то боязливым любопытством, явно понимая, что в эшелоне заключенные. Дурачась, я трагически изломила брови, закусила губу и вцепилась пальцами в железные полосы. Спектакль удался: мужчина что-то сказал (верхняя часть их окна была открыта, но слов не разобрать), выражение лиц у женщин сменилось на откровенно жалостливое, одна из них зашарила руками по столу, возможно, искала пирожок или яблочко. Грешно потешаться над людским сочувствием, но я ощутила мстительное

удовольствие, что хоть на минуту (наш состав уже тронулся, окно с лицами отодвинулось) смутила покой счастливцев, едущих в противоположную, нежели мы, сторону, может быть, в Москву!..

В окно, даже со своего постоянного места, я смотрела с утра до ночи. Виды открывались один лучше другого, а после глухих стен камер и тюремных дворов картины природы воспринимались бы с особой радостью, если бы не ржавые железные полосы, черные против света, которые как бы перечеркивали все, что виделось за окном.

В этом вагоне впервые в жизни я сочинила стихи:

Глядеть и глядеть бы в окошко —
Забыть и тоску и жажду,
Но все, на что ни посмотришь,
перечеркнуто дважды:
Лес — и закат над лесом,
Рожь — и тропинка во ржи…
Крест-накрест ржавым железом
Перечеркнута жизнь.

Новосибирск

Мы гадали, как в Новосибирске произойдет наш переход из заключенных в ссыльные. Отпустят ли нас прямо с вокзала? Или же прежде отвезут в местное отделение МГБ и уж там вернут паспорта, отобранные при аресте?..

Выгрузка проходила тем же порядком, что и погрузка: на запасных путях и по алфавиту. Было велено строиться в колонну по пять человек в ряд. Я — третья по списку — оказалась в первом ряду колонны; к женскому вагону сзади пристраивались мужчины.

Оглянувшись на Майку, я заметила возле одного из вагонов людей в серо-зеленых мундирах. Немцы!

До этого, не считая кино, я видела немцев только однажды, в тот день, когда пленных гнали через Москву.

Немцы мгновенно построились по пять в ряд, после чего их, проведя мимо нашей колонны, поставили впереди нее.

Средний немец в последней шеренге оказался непосредственно передо мной — хоть ладонью ему в спину упрись.

Нас предупредили: шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой стреляет без предупреждения.

Мы двинулись — сначала вдоль путей, потом мимо каких-то складов, потом по улицам города.

Два раза в жизни мне хотелось — в самом прямом смысле слова — провалиться сквозь землю.

Во второй раз это было в июне 1953 года. Я вернулась в Москву по амнистии и — после короткого праздника подступили будни — стала устраиваться на работу — машинисткой или счетоводом. Ежедневно обходила я контору за конторой по их объявлению «Требуется…». Меня нигде не брали. Стоило мне сказать, что вернулась из ссылки, — а я сообщала об этом с порога, — как кадровик тут же вспоминал, что уже приняли нужного работника или что-нибудь другое в этом роде, а то и просто отказывали, без обиняков.

Однажды, по очередному объявлению, я пришла в небольшое ведомственное издательство, выпускавшее техническую литературу. Почему-то попала не к кадровику, а к главному редактору. Так, мол, и так, вернулась из ссылки, ищу работу. Он в явном смущении, но из деликатности стесняясь сразу же указать мне на дверь, открыл мою трудовую книжку и — вскинул на меня глаза:

— Вы — дочь Артема Веселого?

Усадил в кресло, стали разговаривать. Близко отца он не знал, но в свое время не раз встречался с ним на каких-то издательских путях. Припомнив, что знавал лучшие времена, он сделался грустен, а про Артема сказал:

— Это был настоящий писатель.

Кончилось тем, что он принял меня экспедитором с окладом в 450 рублей,[5] но при этом жалобно попросил: сотрудники не должны знать, что я вернулась из ссылки, иначе у него могут быть неприятности.

Сохранить тайну оказалось несложно: никто из сотрудников не интересовался моим прошлым (впрочем, как и настоящим), лишь одна из женщин в первый же день спросила, замужем ли я. «Давно, уже две недели», — простодушно ответила я, чем сильно рассмешила женщин и снискала их расположение.

Работа была несложной. Меньше меня в издательстве не получал никто, но я была счастлива, что меня сюда приняли.

Все шло хорошо до профсоюзного собрания, накануне которого председатель месткома пригласил меня вступить в профсоюз;я охотно согласилась.

Когда дошла очередь до приема новых членов, председатель месткома скороговоркой прочел мое заявление и предложил рассказать биографию. Вот уж чего я никак не ожидала! Старый редактор, мой благодетель, сидел, ссутулившись, смотрел в пол. Я перебирала пальцами пуговицы на кофте и — молчала.

— Ну-с, мы слушаем, — подавив зевок, проговорил председатель. — Рассказывайте.

— Нет.

— Что — нет?

— Я не буду рассказывать.

Собрание оживилось, никто больше не болтал с соседом, не дремал, не шелестел газетой, все смотрели на меня с различной степенью осуждающего или насмешливого недоумения.

Председатель, после некоторого замешательства, заговорил со мною ласково, как с больным:

— Заяра Артемовна, должно быть, вы не поняли… От вас ничего такого не требуется… Просто — рассказать биографию,

— Нет.

Он развел руками. Вот тут-то мне и захотелось провалиться сквозь паркетный пол. (В профсоюз меня, шептавшись и пожимая плечами, все-таки приняли.)

А впервые — сквозь асфальт — хотела бы я провалиться в июле 1949 года, когда гнали меня по городу Новосибирску в одной колонне с пленными немцами. Мы медленно брели по мостовой, машины нас объезжали. Конвоиры держали автоматы

на изготовку, колонну сопровождало несколько овчарок.

На тротуарах стояли люди. Не знаю, с каким выражением они на нас смотрели, — я никого не видела: крепко сцепив зубы, не отрывала взгляда от серо-зеленой спины.

В новосибирской тюрьме мы провели три или четыре тусклых, ничем не примечательных дня.

В камере нам с Майкой попал в руки том из собрания сочинений Пушкина. Особое внимание привлекло письмо Пушкина Вяземскому из Михайловского (чтобы не пересказывать своими словами, приведу выверенную ныне цитату): «Мне нужен англ. яз. — и вот одна из невыгод моей ссылки: не имею способов учиться, пока пора. Грех гонителям моим! И я, как А. Шенье, могу ударить себя в голову и сказать: „Il y avait quelque chose la…“»[6]

Потом мы не раз повторяли: Il y avait… — куда как лестно числить себя в ряду гонимых всех времен и народов!..

Последний этап

Утром по всему тюремному коридору захлопали двери:

— Выходите, с вещами!

— Быстро! С вещами!

Человек сто мужчин и женщин вывели во двор; нам приказали сесть на землю.

Никто не знал, что будет дальше, строились различные предположения, чаще других звучало слово этап.

Эти толки я слушала уже отстраненно; нас они больше не касаются: мы же в Новосибирске, можно сказать, приехали, осталось получить паспорта и — за ворота!..

Ворота открылись, во двор въехали грузовики.

Нам выдали по буханке хлеба и по кулечку сахарного песку (который я тут же умудрилась просыпать на землю), после чего посадили в грузовики и куда-то повезли.

Высадили нас на берегу Оби, чуть поодаль пристани.

Вместе с нами приехали и конвоиры, но было их немного — человек пять-шесть — и держались они непривычно: сбившись в кучку, о чем-то разговаривали между собой и, казалось, обращали на нас мало внимания. И ссыльные держали себя словно пассажиры, ожидающие прибытия парохода: тоже сбивались в кучки, расхаживали по берегу (правда, далеко не разбредались, как будто чувствовали какую-то незримую ограду), разговаривали, курили. Мы с Ниной и Майкой стояли в сторонке. Я злилась на себя: «Господи, какая же дура — поверила следователю, что меня ожидает чуть ли не просто перемена места жительства (сама же кивала согласно, мол, конечно, не всем жить в Москве!). Что-то непохоже, что нам собираются вернуть паспорта и студенческие билеты… Видно, и впрямь — попала лиса в капкан…»

Не скажу, что на берегу Оби пришло ко мне внезапное прозрение и я наконец осмыслила происходящее. Не было этого. Но я уже не находила всему оправдания в принятой ранее на веру формуле так надо.

«Неужели надо было протащить нас через четыре тюрьмы? Надо ли теперь гнать куда-то из города, назначенного нам местом ссылки? — думала я. — Что же нам предстоит?»

Вдруг против меня остановился — руки в карманах — какой-то парень, некоторое время мы молча (он — с наглой улыбкой, я — оцепенело) разглядывали друг друга.

Невысокого роста, смуглый, мускулистый, грудь нараспашку, кепка сдвинута на ухо; через щеку — шрам, во рту — золотой зуб,

на груди и на руках татуировка — картинки и лозунги.

Он цыкнул слюной сквозь зубы и заговорил:

— А ну, скажи, как река называется?

— Обь.

— Верно. А куда течет — знаешь?

— На север.

— Верно. Течет в Северный Ледовитый океан. И течет, между прочим, через необъятные просторы тайги. А что с нами дальше будет — знаешь?

— Нет…

— Скажу. Будет то же самое, что в прежние годы было с кулаками. Слыхала — нет? Вот сейчас дождемся — посадят нас на баржу и пустят вниз по течению. А где-нибудь в тайге высадят на берег, дадут пилы, топоры, лопаты и скажут: «Стройтесь, живите и размножайтесь». Во-от… Я буду косить, а ты — брусницу носить. Знаешь, что такое брусница?

— Нет, — ответила я помертвевшими губами.

— Эх ты!.. Это такая коробочка для бруска, а брусок — чтобы косу подтачивать… Ну, ничего, еще узнаешь. Главное — держись теперь за меня. Я даже не успела по-настоящему испугаться — к нам подошел человек в черной шляпе и со скрипкой в руках. Он отозвал в сторону татуированного, что-то сказал, и тот — не люблю жаргонных словечек, но оно ляжет точно — слинял. А человек со скрипкой вернулся к нам.

— Николай Билетов, — представился он. — Можно — дядя Коля.

— Вы скрипач? — спросила я.

— Художник. А скрипка — так, для души; перед этапом попросил, чтобы жена передала. Я — повторник, меня взяли из Калинина… А вы, девчонки, откуда?

Николаю тридцать семь лет; по тюрьмам и лагерям начал скитаться с юности. Мастер на все руки, энергичен, предприимчив, мгновенно ориентируется в обстановке, умеет постоять за себя и за другого, притом — человек мягкий и доброжелательный.

Он очень поможет мне в первый год ссылки. Но об этом — чутьпозже…

Разумеется, я была безмерно благодарна Николаю за избавление от перспективы носить брусницу. С горьким смехом призналась, что до этого часа моей заботой было решить: на какой курс института поступать в Новосибирске.

— Неужели нас и вправду, как сказал этот тип, могут высадить в тайге? — спросила я.

— Увидим… — неопределенно ответил Николай. — Главное

— не падать духом. Знаешь, какая надпись была на перстне царя Соломона? — спросил он и сам ответил, произнеся раздельно и веско (позднее не раз повторял, желая подбодрить нас в трудную минуту): — И это пройдет…

Между тем к пристани подплыл пароход, началась посадка пассажиров, потом запустили и нас.

Поплыли вниз по реке.

Глядя на клубящуюся за кормой воду, я подумала: «Вот оно, конкретное выражение свободы: можно хоть сейчас прыгнуть вниз головой!» (в тюрьме поверх перил натянута сетка, и захочешь — в лестничный пролет не кинешься.)

Николай спустился в буфет и принес нам в утешение кулек конфет. Рядом с Николаем держался скромный, молчаливый парень, звали его Пашей; в отличие от других былон совершенно налегке и даже без пиджака, в одной изначально белой рубашке; возможно, его обокрали в тюрьме.

Почему-то совсем не запомнила пристани, где нас высадили (лишь помню, что на левом берегу) — ни вида, ни названия.[7]

До привала шли пешком, правда, недолго (было обещано, что наутро за нами пришлют грузовики); остановились на поляне, здесь же — под открытым небом — заночевали, радуясь, что нет дождя.

Спали на траве рядком — Паша, Нина, Майка, я, Николай, — под себя подстелили два пальто на пятерых, двумя укрылись; летняя ночь оказалась до зубного стука холодной.

Утром к Николаю подошла баба Степанида (после товарного вагона мы с монашками не общались: в тюрьме сидели в разных камерах, на пристани издали друг другу кивнули), протянула ему на ладони царское угощение — крупную горячую картофелину, испеченную в золе (в стороне мерцали угли прогоревшего костра), и сказала:

— Уж ты, Николай Леонидыч, не обидь нашу Зайку…

Я благодарно обняла старуху, а Николай (по-моему, он тоже растрогался) поклялся, что и в мыслях не держит ничего худого.

Вскоре появились грузовики. Погрузились — поехали.

Дорога была ухабистая, тянулась по плоской безлесной равнине, лишь кое-где виднелись согры — островки чахлых березок с болотными кочками между стволами.

Кто-то бывалый сказал, что отсюда начинаются Ва-сюганские болота.

— Ссылка — что! — донесся до меня разговор двух крестьянского вида стариков. — Ссылка — не лагерь. Ты где отбывал?

— За Котласом.

— Я — на Колыме… — Вздох. — А ссылка — что!..

— Погоди еще: зашлют в колхоз, заставят за палочки работать — с голоду подохнешь. В лагере хоть кормят.

— Ну, нет! По мне, нету ничего хуже лагеря. — Вздох. — Как-нибудь прокормимся…

Постепенно в разговор втянулись другие. Все сошлись на том, что как бы тяжело ни оказалось в ссылке, хуже, чем в лагере, не будет. Стали припоминать разные события лагерной жизни. Старик, отбывавший срок на Севере, рассказал о том, как, случалось, расправлялись у них с провинившимися: раздев догола, привязывали к дереву, оставляли на ночь в тайге — на съедение мошке и комарам.

Я не поверила:

— В нашем лагере?! Этого не может быть!

Старик коротко на меня глянул, усмехнулся и — промолчал.

Поняла, что сказанное — правда: этого не может быть, но — было.

Недолго ехали мы на машинах: хлынул дождь, и вскоре ухабистый проселок превратился в реку жидкой, вязкой грязи. Грузовики забуксовали, мы дружно толкали их, да без толку.

Чём больше газовали, тем глубже увязали колеса. В конце концов нам было велено, оставив вещи (за ними пришлют лошадь), идти пешком до ближайшей деревни.

Дождь постепенно утих, выглянуло солнце. Мы не спеша шли обочинами дороги, и конвоиры шли среди нас, закинув автоматы за спину. Картина была почти идиллическая, я даже нарвала колокольчиков.

Один из конвоиров заговорил со мною: мол, тебя-то, девушка, за что же?

— За родителей.

— Как это?

— Отец — враг народа.

— А-а… — И после паузы: — Ну так что? Сын за отца не отвечает.

Я промолчала. Некоторое время молчал и он, шагал, что-то обдумывая, придерживая на плече ремень автомата.

— Ты вот что: ты напиши Сталину.

Я молчала.

— Сын за отца не отвечает, тебя освободят. Ты напиши!

— Ладно, напишу… Скажи, а куда нас ведут?

Несмотря на нашу доверительную беседу, ответил уклончиво:

— Лейтенант знает.

Вскоре Николай выяснил, то ли у другого конвоира, то ли у самого лейтенанта, что ведут нас в районный центр — село

Пихтовку, а уж оттуда распределят по району.

— Выходит, по колхозам?

— Выходит, что так…

Ближайшая на нашем пути деревня называлась Орловка. Ветхие избы с дырявыми крышами, покосившиеся, а то и вовсе поваленные ограды, на улице та же, что и на проселке, непролазная грязь.

Мы с Майкой обомлели: что, если нас поселят в этой Орловке или в подобной ей деревне? Как тут жить — ни электричества, ни радио, ни клуба, ни магазина…

Переночевав в Орловке, кто в избах на полу, кто на продуваемых ветром чердаках, утром пешим порядком двинулись дальше: до Пихтовки оставалось 20 верст.

Вскоре нас нагнала лошадь, в телеге — горой — наши вещи: чемоданы, узлы, самодельные сундучки. На самом верху — моя ветхая наволочка, лопнувшая от нижнего шва до пуговиц, все потроха наружу, но всё — в целости и сохранности.

Пихтовка

Нет худа без добра! Не пойди накануне дождь, да прикати мы в райцентр на машинах — показалось бы нам это село забытой богом дырой.

Но у нас за спиной была Орловка, и мы, идя толпой по Пихтовке, не успевали вертеть головой, обращая внимание друг друга на вывески: «Почта», «Магазин», «Чайная», «Аптека», «Райздрав», «Клуб», «Библиотека». На клубе — киноафиша: сегодня «Сестра его дворецкого», завтра — «Сердца четырех».

— Дядя Коля! Как бы тут остаться?!

— Погодите… — Николай сосредоточен, кажется, его внимание привлекают не столько аптека и библиотека, сколько вывески «Молокозавод», «Промкомбинат».

Проезжая часть улицы в той же непролазной грязи, что и в Орловке, но тут — по крайней мере, на центральных улицах — деревянные тротуары.

Конечно же вспоминается Симонов:

В домотканом деревянном городке,

Где по улицам гармоникой мостки…

Городок не городок, но большое, к тому же хорошо расположенное село: сразу за домами крайней улицы стеной стоит тайга — кедр и пихта.

— Если останемся — будем ходить за грибами, за ягодами…

— И название какое хорошее — Пихтовка!

— Дядя Коля, вот бы остаться!

— Погодите, девчонки, что-нибудь придумаем…

Неширокая речка Бакса делит Пихтовку на две части.

Будущим мартом у меня на глазах (случайно проходила в это время по мосту) Николай нырнет с заснеженного берега в ледяное крошево — спасет провалившуюся под лед свинью. Нас привели в пустующую по летнему времени школу, сказали, чтобы сегодня отдыхали — пол в коридоре и в зале в нашем распоряжении, а завтра начальник районного отделения МГБ определит каждому место жительства.

Первое, что я сделала, — побежала на почту и послала маме открытку. Не волнуйся, мамочка, у нас все благополучно, долго не писали, потому что сидели в тюрьме, но теперь нас выпустили: Гайру отправили в ссылку в Казахстан (я предполагала, что и сестра проедет мимо Караганды), меня — в Сибирь, своего точного адреса пока не знаю, скоро сообщу, целую крепко.

Мама потом рассказывала, что от моей бодрой открытки ее чуть не хватил удар. Не получая от нас ни писем, ни посылок

целых три месяца, мать не знала, что и думать. До лагеря дошел слух, что в Москве от утечки газа взорвался дом, она решила, что наш. Написать родственникам или знакомым, чтобы справиться о нас, не могла, так как уже использовала свой лимит на одно письмо в полгода. У начальника лагеря выплакала разрешение послать телеграмму. В нашу Кривоарбатскую коммуналку пришла телеграмма без указания адресата (мама не хотела подводить никого из соседей): «Умоляю сообщить что с девочками», в ответ получила телеграмму без подписи (откликнулась одна из соседок — добрая душа): «Девочки живы». Живы… Значит, действительно что-то случилось! Но — что?! Снова — день за днем — ожидание вестей, и вот — моя открытка со штемпелем: Пихтовка. Новосиб. обл.

На почте я заказала разговор с Москвой и — сквозь треск и писк — прокричала Минке, что сослана на пять лет, доехала благополучно, пусть пока пишет в Пихтовку до востребования. Вечером мы с Майкой пошли в кино. В райцентре все, видимо, знают друг друга, поэтому каждый новый человек тотчас же бывает замечен — заметили и нас. Когда выходили из клуба после сеанса, рядом — явно не случайно — оказался молодой человек, по виду служащий одной из райконтор: одет, что называется, чисто, при галстуке, тщательно причесан. Заговорив о фильме, пошел с нами по улице в направлении школы, вроде бы и рядом, но немного позади: мостки были неширoки — только для двоих и еще чуть-чуть. Наш провожатый тянул шею, стараясь сбоку заглянуть в лицо, при разговоре как-то галантерейно придыхал, чем нам сразу же не понравился. Майка неприступно молчала, я отзывалась односложно. Так, на вопрос, где мы учились (видимо, он решил, что мы учительницы, присланы по распределению), чтобы не вдаваться в подробности, ответила:

— В МГУ.

— Ах! Так вы из Москвы! Из Москвы — и сюда? Я — из Новосибирска — и то… Вам понравился Новосибирск?

— Нет.

— Нет? Наверное, потому, что вы были только проездом… А где вы там жили?

— В тюрьме.

Я не оглянулась, но думаю, что стоило посмотреть на выражение его лица. Он не издал ни возгласа, ни вздоха. Покатываясь со смеху, мы слышали удаляющийся стук каблуков по мосткам…

На ступеньках школы сидела и тихонько плакала Нюра — колхозница, сосланная за саботаж: не выполнила норму трудодней. В тверской деревне остались со старухой свекровью

двое ребят…

Утром — только проснулись — в школьный коридор пришел молодой красавец с копной черных кудрей, в щегольском френче.

— Начальник строительства Косихин, — представился он.

Еще накануне мы обратили внимание на новый сруб двухэтажного дома на берегу реки в самом центре села. Дом был подведен под крышу, но через оконные проемы было видно, что внутри он еще пуст. Косихин сказал, что здание это строится под райисполком и райком, потом спросил:

— Нет ли среди вас плотников, столяров, жестянщиков?

Несколько человек проворно вскочили с пола: «Я! Я!»

— Всех беру. Можете сказать коменданту, что работой в Пихтовке вы обеспечены.

К Косихину не спеша подошел Николайю

— Я — маляр.

Тот обрадовался:

— Беру, беру!..

— Мне, — продолжал Николай, — требуются подмастерья.

Он поманил нас с Майкой рукой, мы подошли. Не знаю, как смотрелась со стороны я; у Майки — искусно зачесанные наверх светлые волосы, на ней строгая английская блузка, узкая черная юбка, туфли на высоких каблуках.

— Вот, — невозмутимо, словно бы не замечая удивленного взгляда Косихина, сказал Николай, кладя ладони нам на плечи.

Я постаралась не рассмеяться: вспомнилось, как Остап Бендер, нанявшись на агитпароход художником, привел с собой мальчика — бывшего предводителя дворянства Кису Воробьянинова.

Начальник строительства слегка усмехнулся:

— Ладно, оформим чернорабочими.

Нашлась должность и для Нины: Косихин взял ее сторожихой и истопником при конторе строительства. Не чуя под собой ног от радости, мы отправились в комендатуру.

Опасаясь, что комендант сразу же скажет: «В Орловку!» — а потом не захочет менять своего решения, я поспешила сообщить, что вопрос о работе улажен с Косихиным.

Разыскав мое «дело» в стопке лежавших перед ним папок, комендант сначала слегка поднял брови (мы были первыми детьми, присланными на его попечение; позднее приехала Светлана Гурвич — дочь Бухарина), потом сказал:

— Ну, ладно… Поселитесь на квартиру — сообщите адрес. Теперь запомните хорошенько: раз в десять дней будете являться сюда на отметку. Листок метки — документ, удостоверяющий вашу личность, паспорта у вас не будет. За пределы села не

выходить: это будет считаться побегом…

— А как же лес?

— Какой лес?

— В лес ходить можно?

— Если недалеко — можно. Но — недалеко!

Мы с Майкой и Ниной решили поселиться вместе и жить коммуной. Найти для нас жилье доверили мне. Вдвоем с Николаем пошли по селу.

— Сначала подыщем комнату для вас, — сказал он, — а уж потом для меня.

Ходили-ходили из дома в дом — все неудачно. Или самим тесно, или уже есть квартиранты. Оказалось, что наш этап был далеко не первым.

И не последним. Некоторое время спустя в Пихтовке появилась Анастасия Ивановна Цветаева. Слыхом не слыхав о Марине Цветаевой, я не проявила интереса к пожилой женщине, которую иногда встречала на улице: отрешенный взгляд за стеклами сильных очков, короткая седая прядь, выбившаяся из-под старого платка, длиннополое пальто перепоясано ремнем…

Год спустя — уже в Казахстане — впервые от своих новых друзей услышу о Марине Ивановне, стану заучивать ее стихи, читать их своим знакомым, задолго до возникшей моды умножая число ее почитателей.

Горько и запоздало пожалею, что упустила возможность познакомиться с Анастасией Ивановной.

Под вечер, удрученные неудачными поисками жилья, вернулись с Николаем в школу (она почти опустела: нашедшие себе работу ссыльные разместились по квартирам, других — в том числе и монашек — разослали по колхозам).

— Да вы хоть год ходите — никто вас не пустит, — сказал нам один умный человек. — Хозяева думают, что вы — семейная пара. Сегодня — двое, через год — трое. Разделитесь!

Утром Николай отправился один и тут же нашел для себя подходящую комнату.

Тем временем я догадалась сделать по-другому: пошла на почту, свела знакомство с почтальоншей, рассудив, что она должна бы знать всех жителей села. И верно: Нюся дала мне адрес женщины, которая на днях вышла замуж и охотно сдаст свою покидаемую избу.

Бегу в школу обрадовать девчонок — они в сомнении:

— Как! Жить одним, без хозяйки?

— Это же здорово! — говорю я. — Только представьте! Никто не будет ворчать: не так ступила, не туда положила. Сами себе хозяева! Нам просто повезло…

— А русскую печь топить? Ты — умеешь?

— Что уж мы, печку, что ли, не истопим? Научимся!

Уломала.

Сговорились с хозяйкой по полсотни с человека, деньги отдали за месяц вперед.

— Завтра к вечеру переберусь, — пообещала она. — Ключ оставлю под порогом. Дрова в сарае не трогайте — я их ужо заберу.

В последний раз переночевав в школе, утром мы с Майкой вышли на работу (накануне побывали в магазине, купили обувку без каблуков, сильно истощив тем свои и без того тощие кошельки).

Прораб Александр Адамович (тоже ссыльный, седой, импозантный человек) отнесся к нам благожелательно, но сказал, что малярничать на стройке еще рано, поэтому придется пока поставить нас на земляные работы. Выдал нам лопаты, носилки, показал, где копать землю, которой надлежало засыпать чердачное перекрытие дома.

Мы взялись за дело поначалу с энтузиазмом: копали, нагружали носилки землей и тащили их на чердак, поднимаясь туда по шатким, прогибающимся доскам с набитыми на них поперечинами. После третьего или четвертого рейса на ладонях вздулись водянистые волдыри, потом они лопнули, мы их зализывали, морщась от боли. А носилки раз от разу становились все тяжелее…

В конце рабочего дня Александр Адамович подсчитал объем работ.

— Девочки, — сказал он не столько укоризненно, сколько печально, — да вы — вдвоем! — только полнормы выполнили! Так вы ничего не заработаете.

Мы были настолько вымотаны, что отнеслись к его словам почти безразлично. Хотелось поскорее напиться горячего чая и улечься в постель.

Зайдя в школу за вещами, вместе с Ниной отправились на квартиру.

Ключ лежал в условленном месте. Мы открыли дверь.

Изба показалась огромной, потому что была пуста. Пуста совершенно — ни стоящей вчера у правой стены широкой деревянной кровати, ни шкафчика с посудой, ни стола, ни стула, ни кочерги у печки, ни веника у порога… Только электрическая лампочка под потолком да в простенке между окон — черная тарелка орущего репродуктора.

Я подошла к печи, с надеждой отодвинула заслонку: будь там хоть чугунок, мы бы, нарушив запрет на дрова, согрели бы

кипяточку — все стало бы веселее, но в печи — только кучка пепла в загнетке.

Рассевшись по подоконникам, всухомятку пожевали хлеба; захотелось пить. Во дворе обнаружили колодец, но у нас не было ведра.

— Ничего, — изо всех сил бодрилась я, — завтра купим ведро и чайник…

Воду доставали жестяной кружкой, опуская ее в колодец на связанных поясах; легкая кружка не хотела тонуть, зачерпывала по глоточку. Кое-как все-таки напились, вернулись в пустую избу, не зная, чем бы заняться.

— Пошли, что ли, в кино? — уныло предложила Нина.

Я отказалась: мне нездоровилось. Девчонки ушли, я осталась одна.

Лежала на полу, подстелив под себя пальто, чувствуя затылком голые доски (не было, сил встать за своим узлом, брошенным в угол); слушала — и не слушала какое-то бубнение по радио; думала — как быть дальше? Деньги уплачены, осталось их — кот наплакал, другую квартиру уже не нанять, а жить здесь — немыслимо.

Задумалась и не заметила, как кончилась одна передача и началась другая; очнулась, когда услышала: Ни сна, ни отдыха измученной душе… Такое совпадение может показаться нарочитым, но это не выдумка. Выдумка вообще противопоказана мемуарам: это будет уже другой жанр. Просто бывают случаи, которые так и кажутся придуманными для вящего эффекта.

В этой связи мне вспоминается один предновогодний вечер.

Четвертый год ссылки я отбывала в Караганде, работала в строительной конторе. Под новый, 1953 год дали мне на работе по линии месткома билет на новогодний концерт во Дворец шахтера.

Квартировала я в Михайловке — своеобразном районе тогдашней Караганды, почти сплошь застроенном частными домами, однако расположенном в непосредственной близости к центру города.

31 декабря за полчаса до начала концерта я вышла из дому. Улица была безлюдна. В воздухе кружился легкий снег, и от этого сразу сделалось по-новогоднему радостно.

Как только шагнула с крыльца, увидела бегущую по дороге белую лошадь, запряженную в маленькие расписные саночки, на облучке сидел мужчина в полушубке, в меховой шапке. Никогда не видела я таких красивых саночек, разве что на коробке сигарет «Тройка». Конечно, мне и в голову не могло прийти остановить эту ожившую картинку. Но, видимо, я все же сделала какое-то

непроизвольное движение — иначе с чего бы это седок внезапно натянул вожжи и, остановив санки, приглашающе повел рукой. Я села, наверное, с той же озорной решимостью, с какой Лариса Огудалова ступила ногой на брошенную ей под ноги лисью шубу. В отличие от Ларисы я не кидала по сторонам победительных взглядов: никто меня в тот миг не видел, да я и не нуждалась в зрителях — это был театр для себя.

— Куда?

— Во дворец! — Я намеренно не добавила «шахтера» (разумеется, не только потому, что в Караганде и не было другого дворца…).

Санки покатили к центру и через несколько минут остановились у празднично освещенных дверей. За время пути возница не проронил ни слова, ни разу не обернулся.

Я выпрыгнула из саночек.

— Спасибо вам! И счастливого Нового года!

Он коротко кивнул — и взмахнул вожжами. Глядя вслед санкам, я подумала, что наступающий год непременно будет каким-то особенным.

До события — главного в том году, да и на многие годы вперед — оставалось два месяца и пять дней…

Возможно ли, валяясь в пустой избе, раскинув по полу руки с содранными до крови ладонями, вообразить себя, даже крепко зажмурившись, в красном бархатном кресле?.. А ведь совсем недавно — нынешней зимой — я слушала «Князя Игоря» в Большом театре!

И как совпало! Сейчас Игорь взмолится… сейчас… сейчас… вот:

О, дайте, дайте мне свободу!..

Я заплакала — впервые после самой первой ночи в тюрьме.

Под утро в избе рухнул потолок. Разом обвалились все доски — от матицы до двери; мы спали по другую сторону матицы, ближе к окнам. Приходили соседи, качали головами, говорили:

— Просто чудо, что вас не убило.

Признаться, я радовалась не столько чуду спасения, сколько чуду избавления от этой квартиры: прибежавшая хозяйка, насмерть перепуганная, поспешно сунула мне в руку наши деньги.

В тот же день, по совету почтальонши Нюси, мы сняли горницу у Кати Клинковой.

Вдова-солдатка, она жила с двумя маленькими сыновьями в бедности — только от своего хозяйства, но содержала дом в идеальном порядке, сама одевалась и ребят водила подчеркнуто опрятно. Детей своих она воспитывала в строгости, хотя никогда

не била, не ругала, даже не ворчала на них. Если провинятся, с выражением презрения на лице скажет только одно слово: гадысь! (гадость); они ее слушались беспрекословно.

В этом доме нам жилось спокойно, как квартирная хозяйка Катя не оставляла желать лучшего: была доброжелательна и ненавязчива.

Имелось одно неудобство: электричество было проведено только в хозяйскую — проходную — комнату, нам в горнице приходилось довольствоваться керосиновой лампой. Впрочем, к этому мы скоро привыкли. Майка сделала из картона что-то вроде рефлектора, света доставало, чтобы осветить две близко придвинутые книги (мы записались в библиотеку, вечера напролет читали). Две, потому что Нина довольно скоро перешла на другую квартиру.

На одной из улиц неподалеку от центра села я как-то раз зашла в совсем маленький — вроде собачьей будки — магазинчик с буквами КООП на вывеске. Покупателей в магазинчике не было, оно и понятно: на виду лежал товар всего лишь трех видов: мешок с крупной темно-серой солью, фуражки какого-то полувоенного фасона и черенки для лопат.

За прилавком, подперев щеку рукой, сидела молодая дебелая женщина — ни дать ни взять кустодиевская купчиха.

— Ну и торговля! — сказала я.

Она равнодушно махнула свободной рукой, мол, тема не стоит разговора, спросила:

— Ты сюда с последним этапом? Я тут уже полгода.

Должно быть, от скуки она стала меня расспрашивать, кто я да откуда, а потом разоткровенничалась. Заработка на жизнь не хватает, но ведь главное — что не в колхозе. В магазинчик устроил любовник. Он тоже ссыльный, в этапе и познакомились, в прошлом крупный плановик; его сразу же взяли бухгалтером в Райпотребсоюз, а уж он сыскал и для нее местечко.

— Он мне совсем не нравится, — лениво растягивая слова, говорила продавщица. — Да что поделаешь: не определи он меня в магазин, куда бы я еще устроилась? Специальности нет, да и все места заняты: вон нас сколько сюда нагнали…

О том, что все места заняты, мне не нужно было рассказывать; оглядевшись в Пихтовке, мы попытались переменить род занятий — куда там! Да и то сказать: не было у нас ни специальности, ни ремесла какого-нибудь в руках, а к школе (как-никак, мы сколько-то проучились на педагогов) нас и близко не подпустили: ссыльным не место на идеологическом фронте.

От Гайры пришло первое письмо.

Как я и предполагала, ее поселили не в Караганде, а в ста километрах от станции Агадырь, в небольшом шахтерском поселке Акчатау.

Гайра писала, что поступила на фабрику, учится на фрезеровщика, живет в рабочем общежитии.

Воистину, что бог ни делает — все к лучшему. Ведь мы были уверены, что казахстанская ссылка тяжелее сибирской; оказалось — наоборот: и климат в Казахстане лучше (позже расскажу, как отозвалась на мне близость Васюганских болот), а главное, в Акчатау, по крайней мере, не было проблемы с работой — тамошняя шахта и обогатительная фабрика при ней нуждались в рабочих руках.

Гайра, освоив станок, стала получать 600 рублей, конечно, не бог весть что, да и жизнь в поселке была дороже, нежели в деревне, но все же она могла кое-как прокормиться и, кроме того, выкраивала деньги на ежемесячные посылки маме. Наша с Майкой работа оплачивалась сдельно и, как мы ни старались, больше 150–200 рублей (напоминаю, что все это — старыми) в месяц не выходило.

И вообще постепенно выяснилось: приговоренные к пятилетней ссылке по одной статье, все мы попали в разительно несходные условия — кому как повезло. Мы с Майкой стали чернорабочими, мою школьную подругу Ваву Герлин, сосланную в Казахстан, взяли в контору машинисткой, Инна Гайстер преподавала в школе физику и математику.

Со временем почти каждый из нас неоднократно переменил род занятий: я, переехав сначала в Акчатау, а потом в Караганду, работала и на фабрике, и в столовой, и в конторе; Гайра освоила профессию нормировщика (один учебный год мы с ней проучительствовали в начальных классах акчатауской школы, после чего директор школы, пряча глаза, сказал: «Мне прислали двух комсомолок, а вы — ссыльные, так что сами понимаете…»); Вавка закончила Карагандинский учительский институт (вот и разберись тут — место или не место ссыльным на идеологическом фронте; похоже, решения на этот счет принимались произвольно, к примеру, Наташа Запорожец все годы ссылки учительствовала, причем преподавала даже литературу). Труднее всех — из тех, кого знаю — досталась ссылка Майе Петерсон: она долго оставалась на тяжелой физической работе — была подручным у печника, штукатуром, работала в пимокатной и на лесоповале.

Когда нам с Гайрой сделалась ясна ситуация, мы решили, что ей нет никакого смысла проситься в Пихтовку, лучше мне перебраться к ней в Акчатау. Я отправила в Москву заявление с

просьбой поменять мне место ссылки.

В сентябре мы с Майкой избавились от носилок: Николай стал готовить крышу под покраску, нас усадил тереть сурик.

Это было легкое, но невероятно нудное дело. Краскотерка — вид мясорубки, сиди и верти ручку, сурик течет тонкой — с паутинку — струйкой. Ощущение, что вертишь ручку впустую. Иной раз мы не выдерживали и немного отпускали винт, чтобы струйка была хотя бы с волосок — как-то быстрее идет дело (хотя куда, спрашивается, нам было спешить!). Чтобы отвлечься от механической томительно-однообразной работы, мы с Майкой, как когда-то с Наташей на Лубянке, читали друг другу стихи.

Со своей краскотеркой, прикрученной к широкой лавке, на которой сидели верхом, мы располагались в сенях конторы.

Николай нас поучал:

— Кто идет мимо — чтобы никакой болтовни, тем более стихов! И ручку тогда крутите поживее, пусть люди — главное, начальство! — видят, как вы стараетесь. Знаете, какая основная лагерная заповедь? Создавай ви-ди-мость! Ясно?

Но с нас он спрашивал работу добросовестную (и сам неизменно трудился на совесть, даже азартно), часто подходил, окунал в банку, подставленную под струйку сурика, указательный палец, задумчиво и как бы к чему-то прислушиваясь тер по нему большим пальцем и — или оставался доволен, или определял:

— Жульничали! Выливайте все обратно, трите снова. — Он подкручивал винт краскотерки. — И чтоб винт больше не трогать!

Когда краска была готова, мы, обвязавшись веревками — один конец к поясу, другой к кирпичной трубе, топтались на крыше: Николай красил, мы, как считалось, ему помогали.

Зима пришла неожиданно (во всяком случае, для нас) рано. В начале октября посыпал снег — тут же нас с Майкой вместе с несколькими ссыльными послали на уборочную в колхоз.

Угодили мы не куда-нибудь, а, как нарочно, в Орловку. Но теперь она не воспринималась нами с таким ужасом, как летом: знали, что временно.

Колхозный бригадир поставил нас на уборку хлеба. Мужики шли впереди, косили литовками прибитую снегом рожь, бабы-колхозницы — и мы вместе с ними — граблями собирали скошенное в валки, а вернее сказать, в сугробы. То и дело принимался идти снег с дождем, на нас не было сухой нитки, в ботинках хлюпала ледяная жижа. Так прошло дня три или четыре.

Ночью — мы с Майкой спали в избе на широкой лавке в обнимку — кто-то в темноте наклонился над нами, пахнуло винным перегаром.

— Девки! Девки, вставайте! — Это был бригадир. — Айда на

работу: молотилку пригнали.

Мы сняли с печки непросохшие телогрейки и платки, обули скукожившиеся ботинки и пошли за бригадиром. На поле — было слышно издали — тарахтела молотилка, но, когда мы подошли, она уже сломалась. Кто-то взялся за ремонт, остальным велели ждать, не расходиться. На краю поля разложили костер, топтались вокруг, подбрасывали отмокшую солому, в черноту — высоко-высоко — летели искры.

Время шло, молотилка продолжала бездействовать. Наконец, бригадир разрешил разойтись по домам, предупредив: когда рассветёт, всем приходить на недокошенное вчера поле.

Утром ударил мороз, мокрый снег взялся коркой, погребя под собой неубранный хлеб. Нас отпустили в Пихтовку.

Зимой жизнь на стройке почти замерла, не стало ни малярных, ни земляных работ, лишь плотники да столяры подготавливали доски для будущих полов и потолков, мастерили двери и оконные рамы.

Нет работы — нет зарплаты. Николай перешел в промкомбинат, мы с Майкой, продолжая числиться на стройке, фактически остались без дела. В нашу обязанность входило убирать столярку, а поскольку двоим там делать было нечего, ходили на работу через день по очереди. Ходили на работу — громко сказано. Работа скорее напоминала забаву: стружку, накопившуюся в столярке за день, нужно было вынести корзинами на берег Баксы, подальше от столярки и сложенных под навесом досок, стружку поджечь, дождаться, пока она прогорит и закидать кострище снегом. На все это уходило меньше часа, но беда в том, что и оплата была соответственная: даже в старых деньгах она исчислялась в буквальном смысле слова копейками.

Майке немного помогали ее родные, мне — Минка. В определенный день каждого месяца я шла на почту, наперед зная, что там уже лежит денежный перевод на 280 рублей — Минкина стипендия. Девушка на почте всякий раз изумлялась:

— Бывают же такие подруги!

Мы с Майкой экономили изо всех сил, но траты были — по нашим средствам — немалые: на почту, на баню, на починку обуви, на кино. На еду оставалось всего ничего, но с голоду не помирали. Нашим бюджетом ведала более хозяйственная Майка; по воскресеньям в селе бывал базар, мы запасались провизией на неделю: кусок сала, пару кругов — по форме мисок — мороженого молока. Основной наш рацион составляла дешевая картошка: утром вареная (Катя чуть свет — мы еще спали — топила русскую печь, ставила на угли и два наших чугунка — с

картошкой и похлебкой, ее мы доставали к обеду), вечером, когда топилась плита, — жарили картошку на сале. Время от времени позволяли себе кутнуть: покупали сто граммов пряников или кедровых орехов.

Кедровые орехи продавались в магазине, подобно крупе, — для нас это было экзотикой. Торговали в магазине в основном бакалеей (на одной из этикеток рукой продавщицы было написано: крупа грешная); ни мяса, ни сливочного масла в продаже не было (да нам бы и не по карману).

Пряники местного производства продавались в «Буфете» — заведении типа пивнушки. Было там всегда шумно и накурено, за мокрыми столиками сидели подвыпившие мужики, я стеснялась туда заходить, но иной раз искушение было слишком велико.

Однажды я купила пряников и, выходя за дверь, услышала, как буфетчик на вопрос какого-то забулдыги ответил:

— Не знаю, спроси у Кочкурова.

Я медленно шла по улице. Однофамилец… Конечно, однофамилец! А вдруг? Да нет, быть того не может: если бы отец был здесь, в ссылке, он бы дал о себе знать… А если он здесь недавно?..

Я вернулась, но какое-то время стояла за дверью, не решаясь войти. Буфетчик, крикливый, краснорожий, с маслянистыми глазками, не располагал к доверительному разговору. Как-то он отнесется к вопросу о его знакомом?

Пересилив себя, подошла к стойке:

— Скажите, как зовут Кочкурова?

— Зачем тебе?

— Нужно.

— Константин Петрович, а что?

От Пихтовки через тайгу шла дивной красоты дорога: вдоль нее стояли вековые кедры. Мы спросили Катю:

— Куда ведет дорога?

— На «Восход».

— А что там?

— Кирпичный завод, при нем поселок.

— Красивый поселок?

— Да нет, обыкновенный.

— Далеко дотуда?

— Километра четыре.

Манило пройти по дороге до конца, но опасались: вдруг посчитают побегом. Майка элегически декламировала:

Никогда я не был на Восходе,
Ты меня не спрашивай о нем…

Когда мне хотелось побыть одной, я шла на эту дорогу. Особенно хороша была она ранними зимними вечерами, когда сквозь кроны кедров пылало закатное небо. Идешь, любуешься тайгой — но вот уже внутренний сторож предупреждает: поворачивай обратно! Назад — и снова вперед — и снова назад. Такое гулянье было сродни метанию по тюремной камере.

В середине зимы я заболела — да как! Еще в школьные годы случались у меня приступы ревматизма (четыре военных зимы проходила в парусиновых туфлях, а то и в ботинках на деревянной подошве), после уборочной в Орловке начало сильно крутить колени — и вот накинулся полиартрит: не было сустава, который бы не выламывало. Пальцы не держали ложку, я не стояла на ногах.

— Ой, девка, тебе здесь не климат! — говорила Катя. Эту же фразу повторяли соседи, кому случалось к нам зайти; кто-то из них сказал, что мне бы помогло кедровое или пихтовое масло, однако стоит такое масло очень дорого да и достать его невозможно.

Дядя Коля (видя, как он нас опекает, Катя называла его Николаем-Угодником) привел врача из ссыльных — доктора Гарина. Тот осмотрел меня, сказал, что немедленно положит в больницу, а уходя шепнул Николаю, что дела мои плохи, мне послышалось слово костыли.

В больнице меня немного подлечили, вышла оттуда без костылей, но хромая на обе ноги.

Вспомнив разговор про недоступное для меня чудодейственное масло, решила испробовать хвою: запаривала ветки кедра и пихты, держала в ведре ноги и руки. Мне заметно полегчало, постепенно я почти исцелилась.

Услышали частушку:

Ой, Пихтовка, ты, Пихтовка,
Где ты поселенная!
Нет ни девок, ни парней,
Одна тайга зеленая.

Тут же переиначили: «Одна тоска зеленая». Даже не по Москве я тосковала (смирилась с мыслью, что нам ее, похоже, век не видать) — тосковала по городу. Бывало, в мороз, накинув платок, выбегала на улицу, чтобы вдохнуть выхлопные газы проехавшего мимо дома грузовика — запах города…

В ту зиму, как никогда много, писала и получала писем, хотя

круг адресатов был узок: мама, Гайра, школьная подруга Лия Пирейко (она жила в Москве, училась в университете, в письмах меня подбадривала, прислала кое-что из одежды и, по моей просьбе, словарь и учебник французского языка). С Минкой мы писали друг другу ежедневно.

В одном из писем Гайра сообщила, что вышла замуж, что они с Юрой ушли из общежития, сняли саманный домик в казахском ауле на краю Акчатау и ждут меня к себе.

Сын репрессированного крупного военачальника Г. Д. Базилевича (который в свое время был командующим Московским военным округом), Юрий — фронтовик (белобилетник по зрению, ушел на фронт добровольцем, всю войну был на передовой санитаром), после войны доучивался в Бауманском; арестован в ночь на 23 апреля, статья 7-35, пять лет ссылки.

Каждые десять дней, отправляясь на отметку в комендатуру, я тешила себя надеждой: а вдруг уже пришел ответ на мое заявление!

Казалось, что зима тянется нескончаемо долго. Я рвалась душою к Гайре, меня томило вынужденное безделье, угнетали мысли о будущем.

«Нам ли ждать чего-нибудь для себя доброго? думала я. — Ведь и через 5 и через 25 лет мы всё так же будем детьми врагов народа».

Должно быть, с тоски вдруг пошли стихи — за зиму собралась целая тетрадь.

После Пихтовки — как отрезало — не написала ни единой строки.

Позднее, полистав тетрадь, увидела, что стихи — слабые, кинула их в огонь. Почти все забылись, кроме двух-трех.

Стихотворение, написанное под впечатлением известия, что арестован и отбывает срок в северных лагерях наш однокурсник (впоследствии мой муж) Владимир Муравьев:

ЦАРЕВНА СОФЬЯ
(Воспоминания о Третьяковке)

Тяжестью страшной — складки парчи,
Кольца манжет — оковами.
Звон колокольный тонет в ночи
За черной решеткой оконною.

В келью всю ночь заглянуть пытается

Мертвое злое лицо,
Всю ночь на стене монастырской качаются
Тени казненных стрельцов.

Заснуть бы! Не слышать голос Петра,
Не видеть боярские лица!
Куда-то в дикий северный край
Сослан Василий Голицын…

Тускло горит пред иконой лампада
В келье — всю жизнь — одной…
Медные звуки взлетают и падают
В душу — на темное дно.

В конце апреля пришел ответ из Москвы: мне разрешено переехать в Акчатау.

В тот же день уволилась со стройки, послала телеграмму Гайре: «Еду!»

Комендант еще осенью, принимая у меня заявление, сказал, что в случае положительного решения я поеду на новое место ссылки без конвоя: мне дадут отпускной документ, который будет действителен в течение 10 дней. (Поеду, разумеется, за свой счет.)

Теперь он все это подтвердил, не забыв предупредить, что если через 10 дней я не явлюсь в акчатауское отделение МГБ — это будет считаться побегом.

Сколько раз прежде представляла я в мечтах, как уезжаю из Пихтовки! Понимала, что предоставляемая мне десятидневная свобода сродни куску мяса на веревочке, который заглатывала Каштанка, тем не менее заранее наслаждалась каждым часом из этих десяти дней.

До Новосибирска намеревалась лететь самолетом. На краю Пихтовки была луговина, служившая аэродромом; раз в день из Новосибирска прилетал «кукурузник» с почтой, привозил и забирал одного-двух пассажиров. Ехать решила налегке, вещи отправить почтой. Теперь у меня была не одна наволочка: после вынесения нам приговора тете Ане открыли нашу, до того опечатанную, комнату на два часа; она отправила нам зимние вещи и — деньги, вырученные за проданную по дешевке мебель; эти деньги были у меня отложены на ожидаемый переезд.

В Новосибирске, думала я, непременно побываю в «Красном факеле» (объявления о спектаклях этого театра мы ежедневно — с

завистью — слышали по местному радио).

Дядя Коля взывал к благоразумию:

— На кой ляд сдался тебе этот театр? И вообще по Новосибирску зря не шатайся, сразу же иди на вокзал, бери билет и езжай. Дорога неблизкая, да еще с пересадкой — вдруг какая задержка!.. Сама говоришь: не приедешь в срок — посчитают побегом. Знаешь, что за побег бывает? Двадцать лет каторги!

— Знаю. Да ты, дядя Коля, не бойся, не опоздаю: ведь у меня в запасе целых десять дней!..

Мне, конечно, не терпелось уехать как можно скорее. Но пришлось попросить коменданта не спешить с выдачей отпускного документа, потому что ехать было не на чем: как назло началась весенняя распутица, ни самолетик не летал (летное поле раскисло), ни машины не ездили.

Я уже не помышляла о Новосибирске: добраться бы как-нибудь до станции — железнодорожная ветка проходила верстах в шестидесяти от Пихтовки.

Услыхав, что на станцию зачем-то едет трактор, сломя голову кинулась в МТС, разыскала тракториста.

— Возьмешь меня с собой?

— Ну дык чо! Приходи утром, часов в шесть.

Я помчалась к коменданту:

— Завтра уезжаю!

— В добрый час.

Не нам одним с сестрой разрешили съехаться, знаю несколько подобных случаев; вообще существовала тенденция объединять в ссылке родственников, даже жениха с невестой, возможно, из расчета, что семейный осядет на месте прочнее, нежели одиночка. Поэтому странно, что нас с Гайрой разлучили с самого начала… (Сестру Инны Гайстер Наташу, арестованную немного позднее, сразу же направили в Боровое — место ссылки старшей сестры.) Может быть — хочется хорошо думать о людях — это было своеобразным великодушием наших судей из ОСО: нам таким образом предоставили выбор?..

Комендант выписал мне бумагу, поставил завтрашнюю дату: 7 мая 1950 г.

Я обошла всех пихтовских знакомых, со всеми распрощалась, особенно сердечно, разумеется, с Николаем и Майкой.

Без конвоя

Шла я ходко, в Орловке, где рассчитывала переночевать, оказалась в пятом часу. Зашла в избу, показавшуюся мне крепче других — может быть, там и почище?

В сенях мимо меня прошмыгнула с улицы девчонка лет семи. Несмотря на холодную погоду, на ней было только длинное холщовое платье и опорки на босу ногу.

Из кухни выглянула хозяйка, тоже в чем-то холщовом. Я спросила, нельзя ли купить молока, она молча полезла в погреб.

Присев к столу, я вывязала из котомки хлеб, налила из крынки молока в свой стакан. Во все время, пока ела, женщина с девочкой стояли возле печки и неотрывно на меня смотрели. Поев, сказала спасибо и положила на стол рубль. В ту же секунду девчонка подскочила к столу, схватила рубль и метнулась за дверь.

— Оторва, — равнодушно сказала женщина ей вслед.

Я спросила, успею ли по дороге к станции дотемна дойти до следующей деревни. В ответ она пожала плечами. Я пошла.

Не знаю, как называлась деревня, где я ночевала. Утром встала и ушла рано-рано. Насколько помнится, жилья мне больше по пути не попадалось — я шла и шла, размеренно взмахивая своей палкой, по однообразной болотистой равнине, кое-где присыпанной снегом.

Вдруг увидела на дороге — далеко впереди — черную точку. Сердце екнуло. Хорошо, если пень иль волк. Немного погодя стало ясно, что это человек, потом — что мужик.

Мы неминуемо сближались. Я размышляла: когда поравняемся — поздороваться, по деревенскому обычаю, или нет? Пройти молча — не дай бог, рассердится. А поздороваться — вдруг остановит, мол, далеко ли, девушка, путь держишь, то да се — тоже не дай бог. Когда расстояние между нами сократилось настолько, что можно было разглядеть человека в лицо, я почти перестала трусить: небольшая рыжеватая борода придавала его облику некую степенность, а главное, за плечом у него торчала двустволка, «значит, — подумала я, — охотник», и — уж не знаю почему — это показалось мне залогом его порядочности.

Так-то оно так, но все же я шла на ватных ногах.

И вот мы сошлись, глядя друг другу в глаза.

Поздоровались…

Разминулись!

Около полудня впереди завиднелся лес. Я обрадовалась: меня предупреждали, что на подходе к станции будет неширокая

полоска леса.

Но не предупредили, что дорога в лесу разделится на две.

Стояла на развилке, гадая, которая из дорог ведет к станции — ни одна ни шире, ни утоптанней другой.

Надумала идти по левой.

Дорога привела меня к рельсам среди леса.

По шпалам зашагала на запад.

На станции, почти безлюдной, мне встретилась молодая бабенка (одеты мы с ней были, как из одного детдома: на ней такой же черный ватник, кирзовые сапоги, только платок повязан иначе: у меня домиком, у нее низко, по самые брови). Я спросила, скоро ли будет поезд в западном направлении.

— Только что ушел.

— Только что?!

— Ну, с полчаса.

Выходит, пойди я правой дорогой могла бы на него поспеть!

— А когда следующий?

— Послезавтра.

— Послезавтра? Неужели так редко ходят поезда?

— Какие у нас поезда!.. Это же — ветка. Цепляют пассажирский вагон к рабочему поезду и тащат до магистрали.

Я была сражена. Послезавтра — шестой из отпущенных мне дней! Дядя Коля как в воду глядел… Кроме того, куда мне тут деваться до послезавтра: пристанционный поселок не деревня, это там можно зайти в любую избу, мол, пустите переночевать, а тут?..

— Далеко едешь?

— В Караганду.

— К родне, что ль? Сама-то откуда будешь? — Из Москвы, — рассеянно ответила я, думая о своем.

Женщина весело рассмеялась: оценила шутку.

— Вообще-то из Пихтовки, — поправилась я.

— А-а… Бывать не бывала, а слыхала. — Все еще улыбаясь, она достала из кармана ключ. — Ты вот что: видишь барак? Как войдешь — налево вторая дверь. Кто спросит — говори, к Фросе, мол, приехала. Разбери постель, отдыхай. Там каша на столе, правда, холодная — поешь.

Хвостовой вагон пассажирского поезда Владивосток — Москва сильно мотало из стороны в сторону, но мне это нравилось. Меня радовало все: и то, что наконец-то выбралась на магистраль, и то, что еду как обычный пассажир: лежа на верхней полке плацкартного вагона, смотрю в окно без решетки, на станциях выхожу прогуляться по платформе, отличаясь от прочих разве что одеждой, но ничуть не ущемленная в правах.

На случай расспросов попутчиков у меня была заготовлена простенькая легенда; во всяком случае, решила не открывать, что ссыльная, а то, пожалуй, кто-нибудь проявит бдительность… К тому же дико, наверное, выглядела бы я в глазах людей, узнай они, что, радуясь, еду из ссылки в ссылку под конвоем бумажки в пол тетрадного листа.

На нижней полке расположилась хорошо одетая женщина с мальчиком, мы с ней перекинулись парой слов. Когда стали пить чай, она угостила меня печеньем, я, в свою очередь, выложила на стол плитку шоколада «Золотой ярлык» — купила на радостях в пристанционном буфете.

Вскоре женщина с мальчиком сошли, проводница, убирая со стола стаканы, сунула в карман едва начатую плитку. Я собралась было сказать, что шоколад мой, но вовремя сообразила, что услышу в ответ: «Будет врать-то!» — и промолчала.

Вокзал в Петропавловске, где мне предстояла пересадка, напоминал вокзал в Свердловске времен эвакуации.

Я встала в длинный хвост, но вскоре обнаружилось, что на Караганду билетов нет.

Перешагивая через ноги сидевших и спавших на полу, направилась прямиком в привокзальное отделение МГБ: я — человек казенный, меня, ясное дело, отправят первым же поездом.

Уполномоченный МГБ, сидевший в небольшом кабинетике за совершенно пустым столом, выслушал меня неприязненно, мою бумажку, пробежав глазами, отпихнул от себя по столу пальцем:

— У меня не билетная касса.

— Разумеется. Но в кассе билетов нет, говорят, люди стоят в очереди сутками…

— Вот и стойте.

— Очень вас прошу: посодействуйте мне! Вы же видите: семнадцатого мая — крайний срок, опоздаю — будет считаться побег!

Он ответил:

— А мне-то что?

В самом деле: ему-то — что? Я взяла со стола бумажку и вышла. Встав в недвижимую очередь, услышала ворчанье какой-то старухи:

— Выходит дело, у кого мошна тугая — тот езжай… А ты — майся тут с дитём…

— Как это — езжай? — спросила я.

— Сейчас сказывали: из Москвы поезд прибывает, мол, в мягкий вагон есть билеты, — старуха кивнула на открытое окошко кассы. — Поехала бы, да больно дорого, не по карману…

Дорого?.. Я понятия не имела, сколько может стоить билет в мягкий вагон. Ни жива ни мертва подошла к кассе: ну как не хватит денег! Да еще, пожалуй, как раз тех, что истратила на «Золотой ярлык»!

— Один до станции Агадырь…

Хватило! Хватило, даже сдачи дали. Крепко сжала в кулаке билет, вышла на платформу. Ага, вот и поездМосква — Балхаш.

Проводник мягкого вагона, покосившись на кирзачи и телогрейку, на холщовую торбу с веревочными лямками у меня в руке, придирчиво изучил мой билет — только что на зуб не попробовал.

Когда поезд тронулся, я подумала, что судьба явно ко мне благоволит: уж теперь-то наверняка поспею! Разве что поезд сойдет с рельсов…

notes

Примечания

1

В 1956 году, с посмертной реабилитацией отца, была названа дата его смерти — 2 декабря 1939 года. По сведениям, полученным в 1988 году в Военной коллегии Верховного суда СССР, Артем Веселый расстрелян 8 апреля 1938 года.

2

7 и 35 никогда не разделялись в речи и даже в официальных бумагах писались через дефис; я полагала, что это — 35-й пункт 7-й статья (по аналогии с 58–10). Между тем это статья из двух разделов Уголовного кодекса: в 7-й говорилось о категории лиц, в отношении которых «применяются меры социальной защиты», а в 35-й — об этих мерах.

3

О том, что в 37- м сажали совершеннолетних детей, я тогда не знала.

4

Глазок, по теперешнему утверждению моих знакомых, одновременно со мною сидевших на Лубянке, был, и женщины говорят, как они страдали от унижения, потому что в него то и дело заглядывали надзиратели. Я же и мысли не допускала, что глазком в такой ситуации пользуются, не замечала этого, вот и отложилось в памяти, что его не было.

5

Тут и в дальнейшем деньги в их тогдашнем исчислении.

6

Здесь кое-что было. (По преданию, последние перед казнью слова Андре Шенье, погибшего на плахе в июне 1794 г.)

Сейчас посмотрела по карте: не иначе, это была Колывань.